

Лидия
ЧАРСКАЯ

*Повести
и рассказы*



Лидия Чарская
Люда Влассовская

«Public Domain»

1904

Чарская Л. А.

Люда Влассовская / Л. А. Чарская — «Public Domain», 1904

Первая часть повести посвящена жизни воспитанниц Павловского института благородных девиц, выпускницей которого была и сама Лидия Чарская. Она раскрывает нам заповедный мир переживаний, мыслей, идеалов институтских затворниц. Во второй части рассказывается о приключениях героини повести – Люды в Кавказских горах. Эта книга воспитывает чувство долга, учит милосердию и товариществу.

© Чарская Л. А., 1904

© Public Domain, 1904

Содержание

Часть первая	5
ГЛАВА I	5
ГЛАВА II	8
ГЛАВА III	11
ГЛАВА IV	16
ГЛАВА V	19
ГЛАВА VI	27
ГЛАВА VII	32
ГЛАВА VIII	35
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Лидия Алексеевна Чарская Люда Влассовская

Часть первая В ИНСТИТУТСКИХ СТЕНАХ

ГЛАВА I Выпускные. Сон Маруси Запольской

Дребезжащий, пронзительный звон колокольчика разбудил старшеклассниц.
Я подняла голову с подушки и заспанными глазами огляделась кругом.

Большая спальня, с громадными окнами, завешанными зелеными драпировками, четыре ряда кроватей с чехлами на спинках, высокое трюмо в углу – все это живо напоминало мне о том, что я выпускная. Такая роскошь, как чехлы на спинках кроватей, драпировки и трюмо, допускалась только в дортуаре старшеклассниц. Одни выпускные воспитанницы да пепиньерки имели право пользоваться некоторым комфортом в нашем учебном заведении.

Маруся Запольская, спавшая рядом со мною, высунула свою огненно-красную маковку из-под одеяла и пропищала тоненьким голоском:

– С переходом в выпускные честь имею поздравить, mesdam'очки!
Я быстро вскочила с постели...

Только теперь, при воспоминании о том, что я выпускная и что мне остается провести всего лишь один год в институте, я поняла, что шесть лет институтской жизни промчались быстро, как сон.

За эти шесть лет у нас почти ничего не изменилось. Мои подруги по классу были почти все те же, что и в год моего поступления в институт. Начальница, Матап, была та же представительная, гордая и красивая старая княгиня. По-прежнему мы дружно ненавидели нашу французскую классную даму m-lle Арно, которую мы, еще будучи «седемюшками», прозвали Пугачом за ее бессердечие и жестокость, и боготворили немецкую – Fraulein Генинг. По-прежнему обожали учителей и если не бегали за старшими воспитанницами, то потому только, что этими старшими оказывались мы сами. Но зато мы снисходительно поощряли наших ревностных обожательниц – «младших». Да и сама я мало изменилась за этот срок. Только мои иссиня-черные кудри, давшие мне со стороны подруг прозвище Галочки, значительно отросли за эти шесть лет и лежали теперь двумя свитыми глянцевыми толстыми косами на затылке. Да смуглое лицо потеряло свою детскую округлость и приобрело новое выражение сдержанной сосредоточенности, почти грусти.

Моей закадычной подругой была Маруся Запольская, спавшая со мною рядом, сидевшая со мною на одной скамейке в классе и в столовой, делившая со мною все занятия и досуги – словом, не разлучавшаяся со мной за все шесть лет институтской жизни...

– С переходом в выпускные, mesdam'очки, – говорила теперь эта самая Маруся, шая и дурачась.

Но «mesdam'очки» и не обратили внимания на писк Краснушки и, проворно накидывая на себя холщовые юбочки, спешили в умывальную, находившуюся рядом с дортуаром.

– Вставай, Краснушка, – советовала я моему другу, – а то опоздаешь на молитву.

– Ах, Люда! Какой сон я видела, если б ты знала! – проговорила она, сладко потягиваясь и устремляя на меня свои большие темно-карие глаза, с загоревшимися золотистыми искорками в расширенных зрачках.

Краснушку нельзя было назвать красавицей вроде Вали Лер и Анны Вольской – самых хорошеньких девочек нашего класса, – но золотые искорки в глазах Краснушки, ее соболиные брови, резко выделявшиеся на мраморной белизне лица, алый, всегда полураскрытый ротик и огненно-красная кудрявая головка были до того оригинальны и необыкновенны, что надолго приковывали к себе взгляды.

– Что же ты видела, Маруся? – спросила я ее, невольно любуясь ее белым личиком с пышущим на нем румянцем от сна. – Что ты видела?

– Ах, это было так хорошо! – вскричала она со свойственной ей горячностью. – Ты представь только: широкая арена... знаешь, вроде арены римского Колизея... или нет, даже это и был Колизей. Да-да, Колизей, наверное! Кругом народ, много, много народу!.. И сам Нерон среди них!.. Важный, страшный, жестокий... А я на арене, и не только я – многие наши, и ты, и Миля Корбина, и Додо Муравьева, и Валентина – словом, полкласса... Мы осуждены на растерзание львам за то, что мы христианки...

– Душка, не слушай ее, – послышался сзади меня голос Мани Ивановой, всегда насмешливо относившейся к фантастическим бредням моей восторженной подруги, – не слушай ее, Галочка: она никакого Колизея не видела, а просто рассказывает тебе главу из повести, которую вчера прочла...

– Ах, молчи, пожалуйста, что ты понимаешь! – осадила ее Маруся, не удостоив даже взглядом непрошеную обличительницу. – Слушай, Галочка, – продолжала она с жаром, – нас окружали воины с длинными копьями и мечами в руках, а у ног наших лежали цветы, брошенные из лож первыми патрицианками города... Нерон сделал знак рукою... и невидимая музыка заиграла какую-то печальную мелодию...

– Ах, как хорошо! – вскричала незаметно подошедшая к нам милостивая блондиночка с мечтательной головкой, Миля Корбина, любительница всего фантастического и необыкновенного.

– Дверь, ведущая в клетку зверей, – невозмутимо продолжала Краснушка, – должна была тотчас же отвориться, как вдруг Нерон, остановившись на мне взором, произнес: «Хочешь спасти себя и своих друзей?» – «Хочу!» – отвечала я смело. «Тогда ты должна сложить мне песню, тотчас же, не сходя с арены, но такую прекрасную, за которую я бы мог даровать тебе жизнь».

– И что же? Ты спела? – с загоревшимися глазами спросила Миля, подвинувшись почти вплотную к постели рассказчицы.

– Постой, не забегай вперед! – отрезала Милю Маруся. – Слушайте дальше!.. Мне подали лютию, всю увитую цветами... Я окинула цирк взглядом и, остановив мои глаза на императоре, запела. Я не помню, о чем я пела во сне, но это было что-то такое хорошее, такое чудесное и поэтичное, что сам Нерон смягчился душою и бросил мне лавровый венок на арену и объявил свободу и жизнь всем христианкам.

– Ах, как хорошо! – замирая от восторга, прошептала Миля. – Дай мне тебя поцеловать, душка, за то, что ты всегда видишь такие поэтичные сны!

– Ты плохо знаешь историю, Запольская. Нерон никогда не миловал христиан, отданных на растерзание! – послышалось насмешливое замечание хорошенькой Лер.

Но Маруся, как говорится, и бровью не повела.

– Таня Петровская, Таня Петровская, – остановила она проходившую мимо нее черноволосую и рябоватую девушку с нездоровым цветом лица, слышную среди выпускных за отгадчицу и в то же время самую религиозную из всех, – как ты думаешь, что мог бы означать мой сон?

– Это нехороший сон, Краснушка, – самым серьезным тоном произнесла Петровская, заплетая длинную, доходившую ей почти до пят и тоненькую, как у китайца, косу, – нехороший сон, душка, – присаживаясь в ногах Марусиной постели, повторила она. – Хорошо читать стихи во сне – значит плохо отвечать на уроке; лавровый же венок – значит нуль. Я уже это заметила, как кто лавры во сне увидит – сейчас лавровый венок без листьев, откуда ни возьмись, в журнале.

– Ну вот еще! – недовольно протянула Маруся, не удовлетворенная таким простым толкованием своего поэтического сна. – Мы – выпускные, нам нулей не посмеют ставить.

– Выпускные! – радостно подхватила Бельская, маленькая, кругленькая толстушка с вихрастой белобрысой головой, отъявленная шалунья, за шалости получившая прозвание Разбойника. – Mesdam'очки, мы выпускные. Подумайте только: 296 дней до выпуска осталось! Только 296 дней! Я от радости, кажется, сейчас на шею Арношке кинусь! Ей-Богу!

– Маруся! Краснушка! Сумасшедшая! Ты еще не вставала! Пять минут до звонка! Ведь сегодня французское дежурство, ты забыла, несчастная!

Это говорила необычайно нежным грудным голосом дежурная Чикунина, высокая, полная девушка, прозванная Соловухой за удивительно звучный и приятный голос.

Варюша Чикунина была недавно выбрана регентом церковного хора и ни днем ни ночью не расставалась с металлическим камертоном, спрятанным у нее за край камлотового форменного лифа. Она была очень счастлива и гордилась возложенной на нее обязанностью.

– И то правда, – паясничая, вскричала Маруся, – девушки, миленькие, погибла моя головушка! Душеньки-подруженьки, помогите мне! – И в то же время она с необычайной ловкостью набрасывала на себя грубую холщовую юбку, заплетала и укладывала на голове свои огненные косы под уродливый ночной чепчик.

Через две минуты Запольская стояла уже на табурете посередине умывальной комнаты и, размахивая зубною щеткою, декламировала:

Спокойно стояла она пред судом,
Свободного Рима гражданка...

– Арношка идет! Пугач идет! Краснушка, спасайся! – неистово завопила, пулей влетая в умывальную, смуглая, черноволосая, как цыганка, Кира Дергунова, с огромными восточными глазами, так и мечущими молнии.

– Ай! Горе мне! – таким же визгом ответила Маруся и со всех ног кинулась в дортуар, разроняв по дороге все принадлежности для умывания.

ГЛАВА II

На молитву. Новость Сары

Серьезная не по летам Чикунина, восторженная Миля Корбина и я окружили Краснушку и вмиг преобразили ее. Правда, зеленое камлотовое институтское платье плохо сходилось сзади, не застегнутое на несколько крючков; передник сидел косо, пелерина съехала набок, но Краснушка была все-таки готова в ту самую минуту, когда в дверях дортуара показалась высокая и прямая, как палка, фигура нашей французской классной дамы.

В синем форменном платье, с тщательно уложенными по обе стороны прямого, как ниточка, пробора волосами, с длинным носом, пригнутым книзу и служащим мишенью для насмешек всего института, – m-lle Арно была ненавидима всеми нами. Ее придиричность, природная сухость и полное отсутствие сердечности не могли привлекать к себе чуткие, податливые на ласку души юных институток. Зато в глазах начальства m-lle Арно была незаменима. Она обладала настоящим полицейским чутьем и выкапывала такие провинности и недочеты во вверенном ей стаде, какие наверное бы укрылись от глаз другой классной дамы. И сейчас, лишь только она успела появиться в дортуаре старших, как мигом заметила, что злополучная Краснушка опоздала, что Маня Иванова одела пелеринку на левую сторону, а прелестная, голубоглазая и изящная красавица Лер, страшная кокетка и щеголиха, выпустила с левой стороны лба злодейский маленький кудрявый завиток, что строго преследовалось в институте.

– Mesdames! – произнесла Арно резким, неприятным голосом. – Прежде чем спускаться вниз на молитву, я должна напомнить вам о ваших обязанностях. Вы перешли с Божьей помощью, – при этих словах она молитвенно подняла глаза к потолку, – в последний, выпускной класс, и теперь, так сказать, вы делаетесь представительницами целого института. На вас будут обращены взгляды всего учебного заведения; помните, что вы должны явиться примером для всех остальных классов...

– Ну, пошла-поехала, – сокрушенно произнесла Маня Иванова, – теперь начнется, наверное, бесконечная нотация, не успеешь и в кухню сходить...

В кухню ходили каждое утро три дежурные по алфавиту воспитанницы осматривать провизию – с целью приучаться исподволь к роли будущих хозяек. Эта обязанность была особенно приятной, так как мы выносили из кухни всевозможные вкусные вещи, вроде наструганного кусочками сырого мяса, которое охотно ели с солью и хлебом, или горячих картофелин, а порой в немецкое дежурство (немецкая классная дама была особенно добра и снисходительна) приносили оттуда кочерыжки от кочней капусты, репу, брюкву и морковь. Немудрено, что Маня Иванова – страшная лакомка – так сокрушалась, теряя возможность, благодаря длинной речи Арно, попасть на кухню. А Маня очень любила туда ходить, потому что старший повар, Кузьма Иванович, особенно благоволил к ней за ее необыкновенный аппетит и награждал ее с исключительным усердием и зеленью, и мясом, а иногда даже яйцами и сахаром, из которых Маня мастерски готовила вкусный гоголь-моголь.

Наконец m-lle Арно окончила свою речь, и мы, построившись парами, вышли из дортуара.

В столовой – длинной, мрачной комнате первого этажа – все классы были уже в сборе. Среди зеленых камлотовых форменных платьев и белых передников институток там и сям мелькали цветные, темные и светлые незатейливые и нарядные платьица новеньких, поступивших в разные классы. Весь седьмой класс состоял исключительно из них. Робкие, по большей части взволнованные личики новеньких приковывали общее внимание, которое еще более смущало маленьких девочек, впервые очутившихся в чуждой для них обстановке.

Прозвучавший звонок напомнил о молитве. Все воспитанницы поднялись со своих мест и, обернувшись спинами к входной двери, устремили глаза на маленький образок, висевший на самом верху дощатой перегородки, отделяющей столовую от буфетной.

Дежурная Чикунина вышла на середину комнаты с молитвенником в руках и начала своим чудным грудным голосом: «Во Имя Отца и Сына и Святого Духа». За этим вступлением следовал целый ряд молитв. Додо Муравьева, наша вторая ученица (я считалась первой по классу все семь лет, проведенные мною в институте), прочла несколько стихов из Евангелия; воспитанницы стройным хором пропели молитву за государя, после чего все разместились за длинными столами, по десяти человек за каждым, и принялись за чай.

– Знаете, душки, я вам скажу одну вещичку! Только, чур, никому ни слова, чтобы наш стол только и знал, – неожиданно произнесла тоненькая, быстроглазая девочка Сара Хованская, обращаясь к девяти остальным, занимавшим стол старшего класса.

– Говори, только не ври! – круто оборвала Хованскую всегда несколько резкая на язык смуглянка Дергунова.

Сара Хованская любила прихвастнуть немного, признавая в себе эту слабость, ничуть не обиделась на замечание Киры.

– Ей-Богу, не совру, душка! – обещала она и в подтверждение своих слов быстро перекрестилась.

– Ну ладно, тогда выкладывай, – милостиво разрешила Дергунова, уставившись на нее своими цыганскими глазами.

– Дело в том, mesdam'очки, – обрадованная общим вниманием, заговорила Сара, – что у нас в выпускном классе скоро будет новенькая!

– Вот глупости, – вскричала Маня Иванова, спокойно до этого уплетавшая черствую институтскую булку, – вот чепуха-то! Институтское правило запрещает принимать новеньких в выпускной класс...

– Ах, молчи, пожалуйста, ты ничего не знаешь! – рассердилась Хованская, не любившая Маню. – Это для простых смертных не допускается, а будущая новенькая – важная аристократка и училась где-то в Париже и сюда поступит только проверить свои знания и приучиться к русскому языку... Она страшная, говорят, богачиха.

– Душка Хованская, – выскочила Бельская, – скажи мне по секрету, откуда ты это узнала?

– Очень просто. Мне передала Крошка, а ей говорила ее тетка – инспектриса.

– И это правда? – усомнилась Краснушка, сидевшая о бок со мною за чайным столом.

– Ей-Богу, правда, mesdam'очки! – еще раз перекрестилась Хованская на видневшийся в отдалении образ.

– Сара, не божись! На том свете ответишь! – с укором произнесла Танюша Петровская – самая богобоязненная и религиозная девочка из всего класса.

– Ну уж тебе-то, гадалке и прорицательнице, хуже достанется! – оборвала ее Сара.

– Душки, не грызьтесь! – примиряющим тоном проговорила Миля Корбина, не выносившая никаких ссор и неурядиц между «своими».

– Mesdames! Вы являетесь, так сказать, представительницами целого института! На вас обращены глаза всего заведения, и вы должны служить ему примером... – произнесла с расстановкою Краснушка и, неожиданно сморщив свое беленькое личико в забавную гримасу, стала вдруг до смешного похожа на Арно.

– Ах, Маруся! Вот чудесно! Еще, душка, еще! – заливаясь веселым смехом, приставали к ней подружки.

Я одна не смеялась: в моей памяти еще слишком живо стояло неприятное происшествие с тою же Краснушкой, когда она, увлекшись такой же, как сейчас, проделкой, не заметила подкраившей сзади mademoiselle Арно, была уличена ею и оставлена без передника в наказание за «непочтение к старшим».

– Перестань, Маруся! – урезонивала я мою расшалившуюся подругу. – Ну что за охота получать выговоры, право!

– Ах, Галочка, ты всегда помешаешь моему веселью! – с досадой произнесла она. – Всегда во всем найдешь что-нибудь нехорошее... Знаешь ли, Люда, – помолчав немного, добавила она уже мягче, – мне кажется иногда, что ты слишком уж хороша для меня и что я недостойна быть подругой такой «тихони» и «парфетки», как ты... Тебе куда полезнее было бы дружить с нашими «сливками» – Додо Муравьевой, Варюшей Чикуниной, Вольской, Зот и пр., и пр., и пр.

– Ты думаешь? – с улыбкой взглянув ей пристально в глаза, спросила я.

– О, Люда! Галочка моя милая! Хохлушечка моя несравненная! – вдруг, вскакивая со своего места и бросаясь мне на шею, захлебываясь, вскричала она. – Не смотри ты на меня с таким укором, Людочка! Не буду! Не буду! Ведь знаю, что я дороже тебе всех наших «парфеток» и умниц.

И она покрыла горячими поцелуями все лицо мое, глаза и губы.

Странная, необузданная, но на диво славная девочка была эта Краснушка!

ГЛАВА III

Дядя Гри-Гри и математика. Маленькие невзгоды

Сегодняшний день был началом классных занятий.

Поднявшись во второй этаж и пройдя бесконечно длинным коридором, мы вошли в класс, на дверной доске которого чернела римская цифра I. Заветная, давножданная цифра! В продолжение долгих шести лет институтской жизни сколько надежд и грез было обращено к последнему, выпускному году, к последнему, старшему классу, который служил преддверием будущей свободной, вольной жизни!..

До сегодняшнего дня мы считались еще младшими и все лето помещались в нашем II классе, несмотря на выдержанные весной переходные экзамены, а желанный I класс оставался пустым и закрытым на ключ. Но сегодня, лишь только мы вступили в коридор старшей половины, где помещались два отделения пепиньерок и два старших класса, мы увидели двери нашего будущего помещения гостеприимно открытыми настежь.

Не без радостного трепета вошли мы туда. Комната выходила окнами на улицу. Но к этому обстоятельству мы уже привыкли в предыдущие годы, так как, начиная с IV класса, ежегодно занимали помещения, выходившие на улицу.

– Ах, душки, солнышко! – наивно обрадовалась миниатюрная и болезненная на вид Надя Федорова, всегда приходившая в умиление к стати и некстати.

Действительно, солнце светило всюду, желая как будто поздравить нас с новосельем. Оно заливало ярким светом белоснежный потолок класса, его красивые, выкрашенные в голубую масляную краску стены, громоздкую кафедру, черные доски и бесчисленные карты всех частей света и государств мира, тщательно развешанные по стенам.

– Как это странно, mesdam'очки! – произнесла Миля Корбина, устремляя в окно свои всегда мечтательные глазки. – Как это странно! Вчера еще мы слонялись по саду и шалили сколько душе было угодно, а сегодня снова занятия, классы, звонки, съехавшиеся институтки и вся по-старому заведенная машина.

– А я, признаться, рада, душки, что лето миновало, – вставила свое слово быстроглазая Кира, – в ученье время скорее пролетает до выпуска...

– Mesdames, prenez vos places!¹ – раздался в наших ушах неприятный, пронзительный голос m-лле Арно, – monsieur Вацель, va rentrer a l'instant.²

– Неужели пришел? – с сожалением произнесла Бельская. – Ах, душки, – обратилась она сокрушенно к классу, – не ожидала я от дяди Гри-Гри такой подлости, право: пришел аккуратно в первый же урок.

Как бы в подтверждение ее слов прозвучал звонок в коридоре, классная дверь широко распахнулась, и могучая, плотная фигура с громадной, львинообразною головою, покрытой густой гривой черной растительности, ввалилась в класс.

– Здравствуйтесь, старые знакомые, хозяйюшки и умницы, – прогремел над нами сильный и мощный бас нашего общего любимца Григория Григорьевича Вацеля, преподавателя геометрии и арифметики в старших классах.

Совсем особенный человек и совсем особенный учитель был этот «дядя Гри-Гри», как мы его называли. И манера преподавания у него была совсем особенная. Его уроки проходили всегда не иначе как с шутками, прибаутками, смехом и остротами. Он говорил о самых скучных предметах с самой подкупающей веселостью. За все семь лет я не помню, чтобы у него хоть раз было скучающее лицо на уроке или даже чтобы он задумался когда-нибудь на минуту. Свою

¹ Сядьте на место!

² Немедленно возвращайтесь.

математику он любил больше всего на свете и о цифрах, правилах и задачах говорил так же нежно, как о собственных детях.

В его уроки шум и гвалт в классе стояли всегда невообразимые. Воспитанницы вскакивали со своих мест, окружали кафедру, вспрыгивали на пюпитры, чтобы лучше увидеть решение задач на досках и услышать объяснения учителя. Классные дамы давно потеряли надежду на восстановление дисциплины, отсутствующей на уроках Вацеля, и махнули на него рукой. Они старались даже не присутствовать во время его класса, зная всю бесполезность их замечаний, так как дядя Гри-Гри был горячим защитником девочек, и являлись только по звонку, возвещающему об окончании урока.

– И отлично, – встряхивая свою черную гривую, восклицал дядя Гри-Гри, когда щепетильная m-lle Арно, презрительно поджимая губы, удалялась с его урока, унося с собою рабочую корзиночку с ее бесконечным вязаньем, – мы и без полиции обойдемся. Только вы меня не съешьте, девицы, из лишнего усердия, – добавлял он с комической гримасой, поднимавшей целый взрыв хохота.

С веселым хохотом решались у нас труднейшие теоремы и самые запутанные задачи, до которых Вацель был, к слову сказать, большой охотник. Лени, рассеянности, невнимания он не переносил. В минуты гнева он был положительно страшен.

– Вздор мелете, окоlesiцу несете, синьорина вы моя прекрасная! – напускался он грозно на ленивую воспитанницу, выпучивая при этом свои изжелта-карие круглые глаза и вращая ими во все стороны. – Вам не задачи решать, а хозяйством заниматься да кофеи пить надо, вот что-с. Пожалуйте-кась в «Камчатку» да отдохните за кофейком! Стыдно-с вам! Стыдно!

И злосчастная синьорина покорно направлялась в «Камчатку» (так у нас назывались последние скамейки в классе), заранее зная, что в журнальной клетке против ее фамилии к концу урока водворится «сбавка».

Манера ставить баллы у Вацеля была совсем исключительная. Он не признавал никаких границ в этом направлении. Если ученица при переходе из класса в класс имела, положим, восьмерку, то за первый же порядочный ответ он делал ей прибавку на один балл и ставил девять. Еще удачный ответ – еще прибавка и т. д. Плохо отвечала воспитанница – ей делалась сбавка на балл; вторичный плохой ответ – новая сбавка, и, таким образом, сбавки доходили до нуля. Когда же сбавлять оставалось не с чего, неумолимый в таких случаях Вацель выстраивал целую шеренгу нулей до тех пор, пока лентяйка не одумывалась и, взявшись за ум, не награждала математика более удачным ответом. Тогда начинались прибавки, которые могли идти без конца, достигая крупных цифр, переходящих за сто. За среднюю отметку бралась последняя цифра, конечно если она не превышала двенадцати баллов.

Девочкам, получившим 105 и 106 и т. д. баллов, Вацель выводил в среднем 12 и при этом шутил добродушно:

– Эх-ма! Под горку-то как покатила моя умница!

Его боялись, но любили за его крайнюю справедливость. Начальство снисходительно относилось к его чудачествам и смотрело на них сквозь пальцы, потому что Вацель считался знатоком своего дела и был очень популярен среди учебного и педагогического мира.

Сегодня дядя Гри-Гри пришел к нам в особенно приятном и веселом расположении духа.

– Ну, вот вы и большие девицы, – шутил он, с трудом взгромождаясь на кафедру своей тяжелой, гигантской фигурой. – Радуюсь за вас, синьорины мои милые, кофейницы мои и умницы! (Кофейницами и хозяйшками дядя Гри-Гри называл лентяек, умницами – прилежных.) Поди теперь и сбавок нельзя будет делать... Загрызете!

– А у нас, Григорий Григорьевич, новость! – неожиданно «вылетела» Бельская, метнув предварительный взгляд на пустующее место классной дамы. – Новенькая к нам в класс поступит!

– Ну? – удивленно протянул Вацель, взявший было перо в руки, чтобы расписаться в классном журнале.

Но Белке не пришлось ответить, так как ее соседка – смуглянка Кира – так сильно дернула ее за конец передника, что она разом шлепнулась на место.

– Ты, душка, дура! – ожесточенно зашептала Кира. – Разве можно говорить про это?

– А что? – искренно удивилась Белка.

– Батюшки, да она рехнулась! – окончательно возмущившись, негодовала Кира. – Ведь это тайна, глупая! Ведь Саре Крошка сказала по секрету, значит, это тайна! А ты выдала Сару.

– Ах, чепуха! – разозлилась в свою очередь Бельская. – Этого не говори, того не говори, о чем же и говорить-то после этого?

– Ты бы еще про последнюю аллею и про серый дом рассказала, – не унималась расходившаяся Кира, – куда как хорошо было бы!

Этот серый дом, упомянутый девочкой, играл важную роль в нашей институтской жизни.

В то время как младшие и средние классы с началом весны разлетелись на каникулы по всем уголкам России, мы, перешедшие из II-го в выпускной класс, должны были оставаться все лето в институте. Это делалось, во-первых, для того, чтобы усовершенствоваться в языках, а во-вторых, для изучения церковного пения на клиросах институтской церкви, где певчими обязательно были институтки-старшеклассницы. Проводить лето в стенах института не считалось особым лишением. Все три месяца мы буквально прожили на воздухе в густом, громадном институтском саду, бегали на гигантских шагах, качались на качелях, играли в разные игры. Мы даже принимали наших родственников и знакомых на институтской садовой площадке, окруженной кустами бузины и сирени, с куртинами цветов посреди нее, наполняющими сад острым, приятным ароматом. Раз в неделю нас водили осматривать разные заводы и фабрики или брали кататься за город – в Царское Село, Гатчину и Петергоф. Никто не скучал летом среди массы разнообразных впечатлений. К тому же мы сами всегда выдумывали себе развлечения среди однообразной институтской жизни. Одно из них заняло нас надолго.

Густая и тенистая «последняя аллея», где и днем-то было всегда мрачно, а вечером положительно жутко от прихотливо, в виде живой кровли, разросшихся дубовых ветвей, вела от веранды через весь сад к противоположной невысокой каменной ограде. Аллея заканчивалась маленькою площадкою, тесно окруженною пышными кустами акаций. Здесь, около этой площадки, ограда была еще ниже, так что позволяла видеть громадный серый дом с заколоченными ставнями на готических окнах, с массивными колоннами, висячими балкончиками и стрельчатой башенкой над крышей. Дом был обращен к нашему саду задним фасадом и казался необитаемым.

Институтки, всегда склонные к мечтательности, обожавшие все таинственное, из ряда вон выходящее, распустили о старом доме самые фантастические и легендарные слухи: говорилось, что в сером доме бродят привидения, мелькает свет по ночам через щели ставен и слышится по временам чье-то заунывное пение.

Миля Корбина, большая поклонница таинственных романов Вальтера Скотта, божилась и клялась, утверждая, что собственными глазами видела, как однажды вечером ставни серого дома приоткрылись и в окне показалась фигура старика в восточной чалме. Что Миля сочиняла, в этом не было никакого сомнения, но нам так хотелось верить Миле и не разрушать впечатления таинственного очарования, навеянного на нас одним видом серого дома, что мы даже постарались не усомниться в ее словах. Вечером, покончив с чаем, мы стремглав летели на последнюю аллею, забирались на площадку акаций и жадно вглядывались в мрачный и зловещий, как нам казалось, силуэт пустынного дома в надежде увидеть что-нибудь особенно таинственное, но каждый вечер расходились спать разочарованные, обманутые в наших ожиданиях. Старик в чалме решительно не желал появляться.

Такова была история серого дома, возбуждавшего самый живой интерес среди девочек.

– Нет-нет, я не так глупа, – шепотом оправдывалась Белка, – чтобы выдавать настоящие тайны, а только о будущей новенькой отчего же было и не сказать?

– Ну-с, так как же насчет будущей новой синьорины? Когда она поступит? – словно угадывая разговор девочек, спросил Вацель.

– Нет-нет, – вся вспыхнув, произнесла Кира Дергунова, делая «страшные глаза» по адресу Бельской, – этого мы не можем вам сказать, ни за что не можем...

– Ну, коли ни за что не можете – так и не надо-те! – умиротворяюще произнес учитель. – Займемся-ка лучше нашим хозяйством, пока не ушло время!

И, взяв мелок в руки, он подошел к доске и стал объяснять урок по геометрии к следующему разу.

В ту же минуту на мой пюпитр упала сложенная бумажка.

Я быстро развернула ее и прочла:

«Сегодня за обедом щи, котлеты с горошком и миндальное пирожное. Кто хочет меняться: пирожное на котлету? Персылай дальше».

Я сразу узнала Маню Иванову, автора записки, которая не могла часу прожить без разных «съедобных» расчетов и соображений. Покачав отрицательно головой по адресу сидевшей неподалеку Мани, я сложила записку и перебросила ее дальше.

В то время как близорукая Мухина, или Мушка, маленькая близорукая брюнетка, сидевшая на первой скамейке, разбирала Манины каракульки, поднеся их к самому носу, Вацель окончил объяснение теоремы, положил мелок, которым писал на доске, обратно на кафедру и осторожно, на цыпочках подобрался к Мушке.

– Мушка, спрячь, спрячь записку! – зашептали ей со всех сторон ее доброжелательницы.

Но было уже поздно. Еще секунда – и злополучная записка очутилась в руках дяди Гри-Гри.

С невозмутимым хладнокровием он громко прочел классу, умышленно растягивая слова, в то время как обе девочки, и Маня и Мушка, сидели красные, как пионы, от стыда и смущения.

– Вот так фунт!.. – комически развел он руками. – Я думал – это они теорему решали, а они... щи с кашей... котлеты!.. Да еще мена... Бр! бр!.. Ай да синьорины мои воздушные! И не стыдно вам за уроками-то хозяйничать? Ведь математика дама важная и требует к себе почтения и внимания! Ведь вы уже теперь, так сказать, синьорины великовозрастные, и, следовательно, хозяйственные дела побоку надо. Госпожа Иванова, хозяйюшка вы моя несравненная, – тем же тоном шутивого негодования обратился он к алевшей, как зарево, Мане по окончании урока, – приятного вам аппетита от души желаю!

– Вот, душка, опростоволосилась-то! – сокрушенно закачала головой Миля Корбина, подсаживаясь к пострадавшей Мане, лишь только дядя Гри-Гри ушел из класса.

– Ну вот еще! – лихо тряхнув своей черноволосой головкой, вскричала Кира. – Что ж тут такого! Хотя мы и воздушные создания, но питаться одним лунным светом и запахом фиалок не можем.

– Mesdam'очки, француз не придет, и Мамап прислала сказать, что в свободные часы будет гулянье, пока хорошая погода! – пулей влетая в класс, заявила запыхавшаяся и красная как рак Хованская.

– Ура! – закричала не своим голосом Дергунова, и в тот же миг сразу оселась под строгим, уничтожающим взглядом вошедшей Арно.

– Taisez vous donc, Дергунова! – вскричала она вне себя от гнева. – Рядом урок физики, а вы кричите, как уличная девчонка!

– Вот еще! – заворчала себе под нос Кира. – Не смеете ругаться... Мой папа командир полка, я вовсе не уличная. Противная, гадкая Арношка! Пугач желтоглазый!

Когда Кира начинала возмущаться, удержать ее не было никакой возможности. По институту ходили слухи, что Дергунова была по происхождению цыганка и ее малюткой подкинули

ее отцу, капитану Дергунову, командовавшему тогда ротой в Кишиневе. Самолюбивая, гордая от природы, Кира возмущалась этими слухами, и всякий намек на ее происхождение болезненно задевал ее. Поэтому и сейчас данное ей Арно прозвище возмутило ее, и она расшумелась не на шутку.

– Бог знает, как с нами здесь обращаются, – почти вслух, не стесняясь близостью классной дамы, ворчала она, – если б наши родные только узнали об этом!

– Ах, душка, – сочувственно произнесла Миля Корбина, сидевшая на одной парте с Кирой, – плюнь ты на это дело и на противную Ар... – Миля не договорила, потому что Пугач стоял перед нею.

– Une demoiselle qui плюет, – своим дребезжащим, неприятным голосом произнесла она, особенно сочно и раздельно выговаривая слова, – не получает 12 за поведение.

И она величественно зашагала между партами, приблизилась к красной доске, на которой писались имена лучших по поведению воспитанниц, и своим костлявым пальцем стерла с доски имя Корбиной.

– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! – сочувственно произнесла Кира. – Уж и до «парфеток» добираться начинает (Миля считалась «парфеткою» по поведению)! Противная Пугачиха!

– Mesdames, mettez vous par paires et suivez moi!³ – тем же невозмутимым голосом произнесла Арно, и мы, сгруппировавшись на середине класса, встали в пары и направились в сад.

³ Встаньте в пары и следуйте за мной!

ГЛАВА IV

Принцесса из серого дома

Громадный институтский сад пестрел своим осенним нарядом. Желтые клены, красноватые липы и подернутые пурпуром кусты бузины составляли слегка поредевший, но прекрасный букет из резких, красивых тонов осени.

В последнюю аллею разрешалось ходить только выпускным и пепиньеркам. Младшие классы ограничивались гимнастической площадкой и ближайшими к крыльцу дорожками.

Едва девочки разбрелись по саду, как из дальнего угла, служившего наблюдательным пунктом, откуда институтки следили за серым домом, послышался звонкий и взволнованный голос Бельской:

– Сюда, mesdam'очки, сюда идите, скорее!

Мы с Краснушкой, спокойно было рассевишиеся на садовой скамейке, быстро вскочили и, схватившись за руки, побежали на зов.

В беседке из акаций, с которых уже давно слетела листва, стояли кое-кто из наших с отчаянно размахивавшей руками Белкой во главе.

– Смотрите! Смотрите! – увидя нас, прошептала она, захлебываясь от волнения. – Вот чудеса-то!

При этом она указывала нам рукою по направлению серого дома...

Я подняла голову, взглянула... и отступила, удивленная новым необычайным зрелищем. Серый дом преобразился... Ставни, плотно заколоченные в продолжение целого лета, теперь были открыты, и чисто вымытые окна ярко блестели стеклами в лучах сентябрьского солнца. Но не дом и не ставни привлекли наше внимание.

Одно из окон было раскрыто, и в амбразуре его стояла девушка в белом платье, с двумя тяжелыми косами, ниспадавшими ей на грудь по обе стороны прелестной головки... Девушка была очень красива той чисто сказочной, мраморной красотой, которая сразу бросается в глаза и приковывает взоры. Белое воздушное платье дополняло волшебный образ, и вся она казалась чудесным олицетворением мечты, воплощенной грезой...

– Ах, дуся! Mesdam'очки! Вот красавица-то! – восторженно зашептала Миля Корбина. – Куда лучше Вали Лер, право!

– Ну вот еще! И сравнить нельзя! Наша Валентина ей в подметки не годится! – авторитетно заметила смуглая Кира, не любившая особенно стесняться в выражениях.

– Ах, душки, кто она? – зашептала Маня Иванова, широко открывшая рот от удивления. – Верно, княжна какая-нибудь или графиня... В таком роскошном доме живет!

– Не все ли равно, mesdam'очки, – вмешалась в разговор Краснушка, – кто бы она ни была – какое нам до нее дело! Вы точно никогда людей не видели: устались в упор – даже неприлично. Только сконфузите бедняжку!

Но «бедняжка» и не думала конфузиться... Ни малейшая краска смущения не трогала эти бледные, словно из мрамора изваянные щеки; глаза ее, большие, смелые, прозрачно-синие, как морская волна, сощурившись немного, смотрели на нас с дерзким любопытством. Полные, яркие губки, странным диссонансом алевшие на этом бледном лице, улыбались не то насмешливо, не то надменно.

– Ах, mesdam'очки, она смеется! – восторженно зашептала Миля. – Дуся! Красавица, ангел! – И она послала по направлению незнакомки несколько воздушных поцелуев.

Девушка у окна рассмеялась тем серебристым, звонким смехом, каким могут смеяться только дети. Потом, перегнувшись немного всем своим гибким станом, весело произнесла:

– Какие смешные девочки! Какого класса?

Мы несколько не обиделись на наименование «смешные» и поторопились ответить в один голос:

– Мы выпускные.

– Вот как! – произнесла девушка снова, и мне ясно послышалось, что она плохо выговаривает слова, как иностранка. – А эта красивая брюнетка, – кивнула она в мою сторону, – тоже вашего класса?

– Это Галочка! Наша любимица! – ответила Миля Корбина, захлебываясь от радости говорить с «принцессой», как она уже мгновенно окрестила девушку из серого дома.

– Галочка! – скривив свое красивое личико в насмешливую гримаску, произнесла та. – Что за дикое имя! Галочка!.. Галка... Ведь это птица, если я не ошибаюсь? Странная фантазия у этих русских называть детей птичьими именами!

– Ах, вовсе нет! – вскричала Кира. – Это не настоящее имя, а прозвище! А ее, – она указала на меня, – зовут Людмилой... Людмила, Люда... Это звучит так красиво... Не правда ли?

– Хорошенькая девочка! – не отвечая на ее вопрос, произнесла «принцесса», бесцеремонно разглядывая меня своими чуть прищуренными глазами.

– А вы не русская? – спросила ее Кира.

Она в ответ только отрицательно покачала белокурой с золотистым отливом головкой.

– Вы немка?

Она опять сделала отрицательный знак.

– Француженка? – не унималась Кира.

Новый жест и новое молчание.

– Так кто же вы? – готовая уже вспылить от нетерпения, прокричала Кира. – Кто вы? Лифляндка, курляндка, испанка, англичанка, итальянка?

И так как девушка не отвечала и только тихо смеялась своим серебристым смехом, Кира сердито пожала плечами и проворчала себе под нос:

– Вот-то важничает, скажите на милость... точно и впрямь настоящая принцесса!

– Ах, оставь ее, душка! – шепотом произнесла Миля Корбина, все время не отрывавшая глаз от незнакомки. – Какое вам всем дело, кто она... В ней нет ничего обычного, человеческого... Я уверена, что она не живое существо, а греза, воплощенная легенда этого старого дома!..

– Милка, ты больна! Ступай в перевязочную, тебя осмотрят, душка! Ты заговариваться начала! – расхохоталась во все горло Дергунова, не терпевшая никаких «небесных миндалей», как она называла поэтические бредни Мили.

В ту же минуту «принцесса», все еще не отходившая от окна, снова заговорила:

– Не беспокойтесь, глупенькие, я такая же, как и вы, и ничего сверхъестественного во мне нет, в доказательство чего я должна идти брать урок музыки, но завтра мы увидимся снова... Только не все, а то вы так кричите, что у меня может разболеться голова от вашего шума...

– Ах, скажите, нежности какие! – вскричала неугомонная Кира, успевшая уже невзлюбить принцессу.

– Не все, – повторила красавица с легкой улыбкой, – вы и вы, – кивнула она мне и Марусе, – и вы также, обезьянка, – засмеялась она в сторону Мили, – приходите ко мне завтра в этот же час...

– Ах, мы не можем завтра, – несколько, по-видимому, не обидевшись данным ей прозвищем, произнесла Миля. – Мы гуляем сегодня во время пустого урока, а завтра в этот час у нас будет учитель, и мы не можем прийти.

– Она вами командует, как горничными, а вы таеете! – сердито проворчала Бельская, недовольная тем, что не получила приглашения от «принцессы».

– Мы придем, придем непременно, как только будет можно! – не слушая ее, произнесла Миля.

– А я не приду – увольте! – резко произнесла Краснушка. – Очень надо исполнять прихоти этой гордячки... Да и тебе не советую, Галочка! – обратилась она ко мне, ничуть не стесняясь присутствием незнакомки.

– Ах, что ты, Маруся! – всплеснула даже руками Миля. – Она такая дуся!

– И девочка снова обратила к окну восхищенный взор.

– Ну и дежурь у нее под окнами, если тебе это нравится, а меня избавь! – вспыхнула Запольская и, круто повернувшись спиной к серому дому, энергично зашагала прочь по аллее.

Я хотела было последовать ее примеру, как до меня долетел снова серебристый голосок незнакомки:

– Приходите же, смотрите, завтра! Вы мне очень нравитесь! И мне бы очень хотелось покороче познакомиться с вами!

Я оглянулась. Глаза девушки смотрели на меня. Очевидно, ее слова относились ко мне.

– Ах, счастливица Влассовская, – завистливо произнесла Миля, – она зовет тебя!

– Не ходи, Люда, – незаметно дернула меня за руку внезапно вернувшаяся и подошедшая к нам снова Краснушка.

– Понятно, не ходи! – вмешалась Кира Дергунова и, повернувшись к окну, заговорила снова, сопровождая свои слова насмешливым реверансом: – Прелестная принцесса, сообразите назвать ваше имя!

– Извольте, – в тон ей отвечала незнакомка, – меня зовут Нора Трахтенберг.

Трахтенберг!.. Какая знакомая фамилия. Где я слышала? Ах, да, вспоминаю. Когда я была еще совсем маленькой «сеньмушкой», моя подруга по классу – такая же маленькая девочка, как и я, – княжна Нина Джаваха «обожала», по институтскому обычаю, одну из старшеклассниц, белокурую шведку Ирочку Трахтенберг. Потом, когда моя подруга Нина умерла в чухотке, а Ирочка вышла из института по окончании курса, я потеряла последнюю из виду. Теперь, когда я услышала эту фамилию, мне показалось как будто что-то знакомое в лице Норы, особенно во взгляде ее насмешливых, прозрачных, словно русалочьих глаз и в надменной улыбке алого ротика.

Я хотела было спросить ее, не приходится ли она Ирэн сестрою, но как раз в этот миг в конце аллеи появился Пугач, строго запрещающий стоять у забора и еще более преследовавший нас за разговоры с посторонними... Мы встрепенулись и врассыпную бросились прочь.

Окно захлопнулось. «Принцесса» Нора исчезла так же внезапно, как и появилась в нем. Раздался звонок, напомнивший нам, что прогулка кончена и надо идти к завтраку.

ГЛАВА V

Сон в руку. История. Новый учитель

Весь этот день только и было разговору, что о «принцессе» из серого дома.

Девочки разделились на две партии. Миля Корбина и хорошенькая Мушка (Антоша Мухина) стояли за Нору. Особенно Миля горячо восторгалась ею. Пылкая фантазия девочки рисовала целые фантастические картины о жизни белокурой незнакомки.

– Mesdam'очки, вы слышали, как она говорит? Совсем-совсем как нерусская! – восторженно захлебываясь, говорила Милка. – Я уверена, что она француженка... Наверное, ее отец эмигрант, убежал с родины и должен скрываться здесь... в России... Его ищут всюду... чтобы посадить в тюрьму, может быть казнить, а он с дочерью скрылись в этом сером доме и...

– Ты, душка, совсем глупая, – неожиданно прервала Краснушка пылкую фантазию Миля, – времена казней, революции и прочего давно прошли!.. Хорошо же ты знаешь историю Франции, если в нынешнее время находишь в ней революцию и эмигрантов...

– Ах, оставь, пожалуйста, Запольская, – взбеленилась Миля, – не мешай мне фантазировать, как я не мешаю тебе писать твои глупые стихи!

– Глупые стихи! Глупые стихи! – так и вспыхнула Краснушка, мгновенно дурнея от выражения гнева на ее оригинально-красивом личике. – Mesdam'очки, разве мои стихи так дурны, как говорит Корбина? Будьте судьями, душки!

– Перестань, Маруся! – остановила я мою расходившуюся подругу. – Ну, пусть Миля восторгается своей принцессой и несет всякую чушь, какое тебе дело до этого?

– И то правда, Галочка, – разом успокаиваясь, произнесла Краснушка. – Пусть Милка паясничает и юродствует, сколько ей угодно... Только ты, Люда, обещай мне, что ты не пойдешь больше на последнюю аллею и не будешь разговаривать с этой белобрысой гордячкой.

– Конечно, не буду, смешная ты девочка! – поторопилась я успокоить моего друга.

– Побожись, Люда!

Я побожилась, трижды осенив себя крестным знаменем (самая крепкая и ненарушимая клятва в институтских стенах).

– Спасибо тебе, Галочка! – мигом просияв, произнесла Краснушка. – Ах, Люда, ты и не подозреваешь, как ты мне дорога... Право же, я люблю тебя больше всех на свете... И мне досадно и неприятно, когда ты говоришь и ходишь с другими... Мне кажется, что я больше всех остальных имею право на твою дружбу. Не правда ли, Люда?

Я молча кивнула ей.

– Ну вот! Ну вот! – обрадовалась она. – А тут эта белая фиглярка лезет к тебе и навязывается на дружбу! Я не хочу, я не хочу, Люда, чтобы ты была с ней!

– Вот глупенькая, – не выдержала и рассмеялась я, – ведь белая фиглярка, как ты ее называешь, наверху в окне, а мы внизу в саду, за оградой. Какая же тут может быть дружба?.. Ни поговорить, ни погулять вместе!

– Ах, какая я глупая, Люда! – засмеялась она своим звучным, заразительным смехом. – Я и не сообразила этого... Ну поцелуй же меня.

– За то, что ты глупая? – расхохоталась я.

– Хотя бы и за то, Люда!

Пронзительный звонок, возвестивший начало урока, не помешал нам, однако, крепко, горячо поцеловаться.

– Pas de baisers!⁴ – послышался над нами резкий окрик Пугача. – На все есть свое время!

⁴ Не целоваться!

Мы невольно вздрогнули от неожиданности. За нами стояла классная дама.

– Господи! – тоскливо вскричала Краснушка. – И когда это мы выйдем из нашей тюрьмы! Все по звонку, по времени: и спать, и есть, и смеяться, и целоваться. Каторга сибирская, и больше ничего!

– Не грубить! – вся вспыхнув, прокричала Арно, топнув ногою.

– А вы не топайте на меня, mademoiselle, – внезапно вспылила Запольская, и знакомые искорки ярко засверкали в ее темных зрачках, – не топайте на меня, что это в самом деле!

– Не смейте так разговаривать с вашей наставницей! – зашипел Пугач. – Сейчас замолчите, или я вам сбавлю три балла за поведение.

– За то, что я целовалась? – насмешливо сощурившись, произнесла Краснушка, и недобрая улыбка зазмеилась в уголках ее алого ротика.

– За то, что вы дерзкая девчонка! Кадет! Мальчишка! Вот за что! – затопала на нее ногами окончательно выведенная из себя Арно и, выхватив из кармана свою записную книжку, в которой она ставила ежедневные отметки за поведение, дрожащей рукой написала в ней что-то.

– Vous aurez 6 pour la conduite aujourd'hui!⁵ – злобно пояснила она Запольской, – и будущее воскресенье вы останетесь без шнура.

Шнурики давались нам за хорошее поведение и за языки. Иметь белый шнурок считалось особенным достоинством у институток. И Краснушка за все время своего пребывания в институте никогда еще не бывала лишена этой награды, поэтому поступок Арно глубоко возмутил ее горячее сердечко.

– Mademoiselle Арно! – отчетливо и звонко произнесла она, вся дрожа от волнения, и ее красивое личико, обрамленное огненной гривой вьющихся кудрей, так и запыхало ярким румянцем. – Это несправедливо, это гадко! Вы не имели права придирааться ко мне за то, что я поцеловала Влассовскую. Учителя не было еще в классе, когда я это сделала... Я не хочу получать шестерки за поведение, когда я не виновата! Слышите ли, не виновата!.. Нет, нет и нет! – И совершенно неожиданно для всех нас Краснушка упала на пюпитр головою и иступленно, истерически зарыдала на весь класс.

– А-а, так-то вы разговариваете с вашими классными дамами! – прошипела Арно. – Tant pis pour vous, mademoiselle,⁶ пеняйте на себя! Я вам ставлю нуль за поведение, и завтра же все будет известно начальнице! – И она снова выдернула злополучную книжечку и сделала в ней новую пометку против фамилии Запольской.

– Бедная Краснушка! Сон-то в руку! – сочувственно и сокрушенно покачала головкой черненькая Мушка.

– Подлая Арношка, аспид, злючка, противная! – иступленно зашептала Кира Дергунова, сверкая своими цыганскими глазами. – Ненавижу ее, всеми силами души ненавижу!

– Видишь, Маруся, – произнесла торжественно Таня Петровская, – я тебе правду сказала: лавровый венок – это непременно нуль в журнале!

– Да не плачь же, Краснушка, – добавила она, наклоняясь к девочке, – ты же не виновата...

– Виноват только сон! – вмешалась Миля Корбина и тотчас же добавила печально и сочувственно: – Ах, душка, и зачем только ты видишь такие несчастные сны!

– Ах, Корбина, и зачем только вы так непроходимо глупы? – подскочила к ней, паясничая, Белка. – Ну разве сны зависят от воли человека?

– Они от Бога! – торжественно произнесла Петровская, поднимая кверху свои серьезные глаза.

⁵ У вас сегодня 6 за поведение!

⁶ Тем хуже для вас!

Краснушка продолжала отчаянно рыдать у меня на плече. Вся ее худенькая фигурка трепетала как былинка.

Запольская никогда не плакала по пустякам. Это все знали и потому жалели ее особенно в этой глупой истории с Арно, потрясшей, казалось, все существо нервной девочки.

– Mesdam'очки! У нее истерика будет! – шепотом заявила Маня Иванова. – Ах, Краснушка, что же это такое?

– Краснушечка! Маруся! Запольская, душка, плачь еще! Плачь громче, чтобы разболеться от слез хорошенько! – молила Миля Корбина, складывая на груди руки. – Если ты заболеешь и тебя отведут в лазарет, Маман узнает о несправедливости Пугача, и ее наверное выгонят!

– Полно вздор молоть, Корбина, – строго остановила я девочку, – как не стыдно говорить глупости! Маруся, – обратилась я к Запольской, – сейчас же перестань плакать... Слышишь? Сию минуту перестань... Ведь у тебя голова разболится...

– Пускай разболится! – проговорила, заикаясь, сквозь истерические всхлипывания, Краснушка. – Пускай я вся разболеюсь и умру и меня похоронят в Новодевичьем монастыре, как Ниночку Джаваху.

– Ах, как это будет хорошо! – неожиданно подхватила Миля. – Умри, конечно! Пожалуйста, умри, Краснушка! Подумай только: белое платье, как у невесты, белые цветы, белый гроб! И поют и плачут кругом... Все плачут: и Маман, и учителя, и чужие дамы, и мы все, все... А Арно не плачет... Она идет в стороне от нас... ее никто не хочет видеть... А когда тебя опустят в могилу, Маман подойдет к Арно и скажет нам, указывая на нее пальцем: «Смотрите на эту женщину! Она убийца бедной, маленькой, невинной Запольской! Она убийца... помните это все и изгоните ее из нашей тихой, дружеской семьи»... И Арношка упадет на край твоей могилы и будет плакать... плакать... плакать... Но воскресить тебя уже будет нельзя: мертвые не воскресают!

Последние слова Миля Корбина произнесла с особенным подъемом... Краснушка при этом заплакала еще сильнее, у многих из нас невольно навернулись слезы. Глупенькие, наивные девушки поддались влиянию Милкиной фантазии. Но сильный, грудной голос Варюши Чикунинной, внезапно прозвучавший за нами, миготом отрезвил нас.

– Перестать! Сейчас перестать! – строго прикрикнула Варюша. – Запольская, не реви! Что это, в самом деле? «Седьмушки» вы, что ли? Ах, mesdames, mesdames, когда-то вы вырастете и будете умнее!

Варюша Чикунина была старше нас всех. Ей было около девятнадцати лет, и ее авторитет дружно признавался всеми.

При первых же звуках ее сильного голоса Краснушка подняла с крышки пюпитра свою рыженькую головку и произнесла, все еще всхлипывая:

– Я ей не прощу этого! Я ей отомщу... отомщу непременно!..

– Разумеется! – подхватила Миля. – Если уж нельзя умереть, так по крайней мере надо отомстить хорошенько!

– Mesdames! Mesdames! Маман в коридоре! Маман в коридоре! – слышались тревожные голоса девочек, сидевших на первых скамейках подле двери. Все разом стихло, успокоилось как по волшебству. Настала такая тишина, что, казалось, можно было услышать полет мухи.

Лишь только высокая, полная фигура начальницы в синем шелковом платье появилась в дверях класса, мы все разом поднялись со своих мест и отвесили низкий реверанс, сопровождаемый дружным восклицанием:

– Nous avons l'honneur de vous saluer, maman!⁷

⁷ Мы имеем честь вас приветствовать!

Начальница была не одна. За нею вошел или, вернее, проскользнул в класс высокий господин в синем вицмундире, сидевшем на нем как на вешалке, очень молодой, очень белокурый и очень робкий на взгляд. Он потирал свои большие, красные руки, как будто они были отморожены у него, и краснел и смущался, как мальчик. Очевидно, он чувствовал себя очень неловко под перекрестными взглядами сорока взрослых девочек, рассматривавших его с полной бесцеремонностью и явным любопытством.

– Mes enfants! – произнесла Маман, окидывая нас всех разом острыми, пронизательными глазами. – Представляю вам нового учителя русской словесности Василия Петровича Терпимова. Надеюсь, вы сумеете заслужить его расположение.

– Мы надеемся, Маман! – отвечал, приседая, дружный хор сорока девочек.

Начальница еще раз милостиво кивнула нам головою в белой кружевной наколке и величественно выплыла из класса, оставив Терпимова в обществе институток.

Последний мешковато уместился на кафедре и сразу уткнулся носом в классный журнал, очевидно, с целью скрыть от нас свое смущение и робость.

– Мой предшественник, – начал он под прикрытием журнала, – высокоуважаемый Владимир Михайлович Чуловский, передал мне, что в истории литературы вы довольно сильны и что он дошел с вами до Фонвизина. Не правда ли, mesdemoiselles?

– Дежурная, ответьте monsieur Терпимову! – приказала со своего места Арно.

Учитель, не заметивший было классную даму при входе в класс, теперь окончательно смутился за свою оплошность, неуклюже привскочил с места и, подойдя к ней, отрекомендовался:

– Честь имею... Терпимов...

Кто-то тихо фыркнул под крышку пюпитра.

– Вот парочка-то подобрана – на славу! – прошептала Кира Дергунова, захлебываясь от приступа смеха.

Действительно, высокая, прямая как жердь Арно и такой же длинный и сухой Терпимов составляли вдвоем весьма карикатурную пару.

– Дежурная, – повысил голос Пугач, – скажите monsieur, что вы проходили у Владимира Михайловича в прошлом году по истории литературы.

Варюша Чикунина тотчас же поднялась со своего места и громко отчеканила:

– От Кантемира до Грибоедова.

– Господи! Да это Дон-Кихот какой-то! – звонким шепотом прошептала Кира, оглядывавшая нового учителя не то со страхом, не то с удивлением.

– А кто, mesdames, может познакомить меня со способом декламации в вашем классе? – снова спросил Терпимов, опять усевшись на кафедру.

Все молчали. Никому не хотелось «выскакивать». Декламацию у нас ставили выше всего и охотно учили и декламировали стихи.

– Кто из вас может прочесть какое-нибудь выученное в прошлом году стихотворение? – повторил свой вопрос учитель.

– Влассовская Люда, прочти «Малороссию», ты ее так хорошо читаешь, – слышались со всех сторон голоса моих подруг.

Я встала.

– Вы желаете прочесть? – обратился ко мне учитель, смотря не на меня, а куда-то поверх моей головы.

Теперь он был красен, как вареный рак, на лбу его выступили крупные капельки пота. Он слегка заикался, когда говорил, и вообще был довольно-таки смешон и жалок.

Я вышла на середину класса и начала:

Ты знаешь край, где все обильем дышит,

Где реки льются чище серебра,
Где ветерок степной ковыль колышет,
В зеленых рощах тонут хутора...

Как истая малороссиянка, я обожаю все, что касается моей родины, и стихи эти я читала всегда с особенным жаром: стоило мне только начать их, как я уже видела в своем воображении и белые хатки, и вишневые рощи, и смуглую хохлушку, вплетающую цветы в свои темные косы, и слепого бандуриста, запевающего песни о своей родимой Хохлатчине, – словом, все то, о чем говорилось у поэта. Чуловский, высоко ставивший декламацию, выучил меня оттенять чтение, делать паузы, повышать и понижать голос. Моя южная натура помимо меня вкладывала сюда много пыла, и я каждый раз с успехом читала «Малороссию», заслуживая шумные одобрения и Чуловского и подруг. Но Василий Петрович Терпимов, или Дон-Кихот, как его сразу окрестила насмешница Дергунова, имел, вероятно, свои особенные воззрения на способ декламации. Он внимательно прослушал меня до конца, не выражая никакого удовольствия на своем худом, некрасивом лице, а когда я кончила, произнес лаконически, точно отрезал:

– Нехорошо-с!

– Почему? – помимо моего желания вырвалось у меня.

– Нехорошо-с... Так можно только молитвы читать-с, а стихи не годится... Проще надо, естественнее.

– А monsieur Чуловский очень хвалил! – послышался с последней скамейки голос Бельской.

– Taisez vous!⁸ – зашикала на нее тревожно вскочившая со своего стула Арно.

– Monsieur Чуловский имеет свою методу... – заикаясь от смущения и мучительно краснея, произнес Терпимов, – я имею свою.

– Влассовская – наша первая ученица... – как бы желая поднять мой авторитет, крикнула Дергунова.

– И профессора могут ошибаться, а не только первые ученицы, – вызывая нечто вроде улыбки на своем длинном лице, произнес учитель.

– Ах, противный, – звонким шепотом заявила Иванова, – да как он смеет против Чуловского говорить! Да мы его «потопим»! Это он из зависти, mesdam'очки, непременно из зависти!

Чуловский был нашим общим кумиром. Молодой, красивый, остроумный, он обращался с нами не как с детьми, а как со взрослыми барышнями, и мы гордились этим его отношением к нам. Едва заметным осуждением Чуловского Дон-Кихот сразу вооружил против себя восторженных девочек.

Его тут же решили «топить», то есть изводить всеми силами, как только могли и умели изводить опытные на эти выдумки институтки...

Мне самой было очень неприятно, что Терпимов забраковал мое чтение любимой «Малороссии». Недовольная вернулась я на мое место.

– Не горюй, Галочка, он, ей-Богу же, ровно ничего не понимает. И откуда только выкопали нам этакую кикимору, – тихонько утешала меня Маруся, у которой едва успели обсохнуть после «истории» слезы на глазах.

– Я... ни... чего, что ты! – ответила я, между тем как в душе подымалась злость против нового учителя.

Прослушав двух-трех девочек, Терпимов заговорил о Державине. Начал он смущенно и робко, поминутно заикаясь на словах, но по мере того как он говорил, голос его крепнул с каждой минутой, речь делалась образнее и красивее, и он незаметно овладел нашим вниманием...

⁸ Замолчите!

Говорил он доступно, просто и понятно, умея заинтересовать девочек, приводя примеры на каждом шагу, прочитывая отрывки стихотворений все с тою же удивительной простотой.

– Ай да Дон-Кихот, отлично справляется, – прошептала Дергунова, внимательно, против своего обыкновения, слушавшая речь учителя.

– Ничего нет хорошего! – протянула Краснушка сердито. – Люда дивно прочла «Малороссию», а он «нехорошо-с»! Еще смеет Чуловского критиковать, кикимора этакая! Интересно знать, кто его обожать возьмется.

– Придется «разыграть», душки, – проговорила шепотом Мушка, – добровольно, наверное, уж никто не согласится.

– Ну и разыграем в перемену... Ах, уж кончал бы поскорее... А наши-то дурочки уши развесили... Как не стыдно: променяли Чуловского на кикимору! Бессовестные! – горячилась Маруся.

Звонок внезапно прервал речь Терпимова, он разом как-то осекся, все воодушевление его мигом пропало. Суетливо расписавшись в классном журнале, он мешковато поклонился нам и вышел из класса.

Тотчас же после урока Терпимова разыграли в лотерею.

Дело в том, что каждого учителя у институток было принято «обожать». Это обожание выражалось очень оригинально. Вензель «обожаемого» вырезывался на крышке пюпитра, или выцарапывался булавкой на руке, или писался на окнах, дверях, на ночных столиках. «Обожательница» покупала хорошенькую вставку для его урока, делала собственноручно *essuié-plume*⁹ с каким-нибудь цветком и обертывала мелок кусочком розового клякспапира, завязывая его бантом из широкой ленты. Когда в институте бывали литературно-музыкальные вечера, обожательница подносила обожаемому учителю программу вечера на изящном листе бумаги самых нежных цветов. В Светлую Христову заутреню ею же подавалась восковая свеча в изящной подстановке и также с неизменным бантом. Иногда несколько человек зараз обожали одного учителя. В таких случаях они разделялись по дням и каждая имела свой день в неделю, как бы дежурство: в этот день она должна была заботиться о своем кумире. Бывало и так, что никто не хотел обожать какого-нибудь уж слишком неинтересного или слишком злого учителя, – тогда его разыгрывали в лотерею и получившая билетик с злополучным именем должна была поневоле принять учителя на свое попечение и стать его ревностной поклонницей. Учителя знали, разумеется, об этой моде институток и от души смеялись над нею. Так, Вацель, получая неудовлетворительные ответы от обожавшей его одно время Бельской, говорил с печальным комизмом в голосе:

– Эх вы, синьорина прекрасная! И когда только вы свои уши в руки возьмете да слушать меня на уроках будете, а еще обожаете! Хороша, нечего сказать!

– И вовсе я вас теперь больше не обожаю, – «отрезывала» Бельская, – вы все путаете, Григорий Григорьевич, сколько раз я вам говорила: не я... а Хованская... Я ей передала вас с тех пор, как вы мне нуль поставили.

– Ах, извините, пожалуйста! – комически раскланивался Вацель. – Так, значит, уж передали? Ловко же вы мною распоряжаетесь, девицы!

Терпимова разыгрывали нехотя... Он не понравился сразу, и его решили «топить».

– Кто вытащил Дон-Кихота? – кричала, надсаживаясь, Дергунова, взобравшаяся на кафедру с большой коробкой от конфет, откуда мы взяли все по лотерейному билету.

– Mesdam'очки, я! Ни за что не хочу! Увольте! – выскочила из толпы хорошенькая Лер. – Увольте, mesdam'очки, ни за что не хочу обожать Дон-Кихота... К тому же я не свободна! У меня уже есть батюшка и Троцкий.

⁹ Вытиральник для перьев.

– Батюшка не в счет: батюшку весь класс обожает, – возразила Кира, – а за Троцким уже десять человек числится... не стоит – возьми Терпимова!

– Ни за что! Ни за что!

И хорошенькая Валя зажала уши и «вынырнула» из толпы окружавших ее девочек.

– Mesdam'очки! Я буду обожать monsieur Терпимова, – послышался за нами тонкий, почти детский голосок, и маленькая бледная блондинка лет тринадцати на вид (на самом деле ей было все семнадцать) выступила вперед.

По-настоящему эту блондинку звали Лида Маркова, но прозвище ей дали Крошка. Она была одною из лучших учениц класса, «парфетка» по поведению, очень миловидная, со светлыми как лен волосами, с прозрачным личиком, напоминающим лики ангелов, и с манерами лукавой кошечки.

– Вот и отлично! – обрадовалась Дергунова. – Душки! Все уступают Лиде Дон-Кихота?

– Все, все уступают! – зазвенели веселые голоса отовсюду. – Бери его, пожалуйста, Маркова.

Таким образом, участь Терпимова была решена.

– Это она неспроста, – говорила мне в тот же день за обедом Маруся, – уверяю тебя, неспроста, Галочка... Она хочет в пику тебе понравиться Дон-Кихоту своею декламацией и быть первой у него по русскому языку.

– Полно, Маруся, – успокаивала я вечно волнующуюся и очень подозрительную Краснушку, – тебе так кажется только!..

– Ах, Людочка, – так и встрепенулась она, – и когда ты перестанешь быть таким доверчивым ягненком и верить всем? Право же, ты слишком добра сама, и потому все кругом кажется тебе такими же добрыми и хорошими... Я не такова!.. Сегодняшняя история с Арношкой...

– Бедная Маруся! – прервала я ее.

– Не смей жалеть, Люда, если хочешь быть моим другом! – вспылила гордая девочка. – Арношка не посмеет поставить ноль в журнале: ведь я не виновата. А в своей книжке пусть пишет все, что ей вздумается.

– А не лучше ли извиниться, Маруся? – робко спросила я.

– В чем? – вскрикнула она. – Разве я виновата? Разве ты не видишь, как Пугач придирается ко мне!.. Ах, Люда, Люда, век не дождусь, кажется, дня выпуска...

– Запольская! Ne mettez pas les coudes sur la table!¹⁰ – послышался снова неприятный окрик Арно с соседнего стола.

– Вот видишь, видишь! – торжествующе-сердито произнесла Маруся. – Опять!.. Господи! И поесть-то не дадут как следует! – крикнула она со злостью, резко отодвигая от себя тарелку с жарким.

После обеда нас снова повели в сад. Миля Корбина, с трепетом ожидавшая этого часа, вихрем понеслась в последнюю аллею к своей «принцессе». Белка, Мушка и Маня Иванова последовали ее примеру. Меня, признаться, также потянуло туда – еще раз взглянуть на странную, таинственную Нору, но, помня обещание, данное мною Краснушке, я не пошла, не желая огорчать и так уже достаточно наволновавшуюся за этот день Марусю.

Весь вечер после прогулки был посвящен приготовлению уроков. Я и Краснушка ушли в угол за черную доску, на которой делались задачи и письменные работы во время классов, и там прилежно занялись географией.

– Ты тут, Галочка? – просунула к нам свою белокурую головку Миля Корбина. – Знаешь, она спрашивала о тебе.

– Кто еще? – подняв на нее сердитые глаза, произнесла Маруся.

¹⁰ Не клади локти на стол!

– Она... Нора... «Принцесса» из серого дома. Она спрашивала про тебя, Влассовская, и велела передать поклон.

– Ах, отстань, пожалуйста! – вышла из себя Краснушка. – Ты надоела с твоей «принцессой» и мешаешь нам учиться!

– Она шведка! Мы узнали, – мечтательно произнесла Миля, не обращая ни малейшего внимания на гнев Запольской, – шведка... скандинавка. Страна древних скальдов и северных преданий – ее родина!

– Да убирайся ты с твоей скандинавкой, Милка, или я завтра же пойду на последнюю аллею, чтобы наговорить ей дерзостей...

– Ты, Краснушка, злючка! Кто же виноват, что ты надерзила Арно! – спокойно возразила Миля. – Ведь и мне попало и меня стерли с доски, а я не унываю, однако, потому что скоро выпуск, скоро конец – и Арношке, и красным доскам, и нулям, и придирам... Ах, Маруся, милая, – восторженно заключила Миля, – душка, напиши ты мне поэму, в которой бы воспевалась Нора, пожалуйста, Маруся! Поэму вроде этой, слушай: мы все дочери лесного царя и живем в большом непроходимом лесу. Мы гуляем, резвимся, танцуем... Во время одной из прогулок натываемся на замок другого царя... В этом замке живет принцесса, светлая, как солнце... Ее улыбка...

– Отстань! – закричала свирепо Краснушка. – Люда, заткни уши и отвечай реки Сибири.

Я послушалась ее совета и, со смехом закрывая пальцами оба уха, перебивая Милю, затвердила:

– Обь с Иртышом, Енисей, Лена, Верхняя Тунгуска, Средняя Тунгуска, Нижняя Тунгуска...

Миля вспыхнула, обиженно пожала плечами и вылезла из-за доски, оставив нас одних.

В 8 часов прозвучал звонок, призывающий нас к молитве и к вечернему чаю. Та же дежурная, Варюша Чикунина, вышла, как и утром, на середину столовой с молитвенником в руках и прочла вечерние молитвы.

Едва мы принялись за чай, отдающий мочалой, как с соседнего стола прибежала высокая, стройная Вольская и шепнула нам, чтобы все собрались на ее постели после спуска газа: она сообщит нам интересную «новость».

Бледное, тонкое, всегда спокойное лицо Анны выражало волнение.

Мы все невольно встрепенились, зная, что Анна, считавшаяся «невозмутимой», никогда не тревожится по пустякам. Значит, с нею случилось что-то особенное. И это особенное уже захватывало нас теперь своей таинственностью.

ГЛАВА VI

Песня Соловушки. По душе. После спуска газа

Около девяти часов мы поднялись в дортуар.

Пугач, предоставив нам полную свободу раздеваться, причесываться и умываться на ночь вне ее присутствия, ушел к себе.

Это было лучшее время изо всего институтского дня. Ненавистная Арно безмятежно распивала чай в своей комнате, находившейся по соседству с дортуаром, а мы, надев «собственные» длинные юбки поверх институтских грубых холщовых и закутавшись в теплые, тоже «собственные» платки, сидели и болтали, разбившись группами, на постелях друг друга.

Варюша Чикунина заплетала на ночь свои длинные – «до завтрашнего утра», как про них острили институтки – косы и вполголоса напевала какую-то песенку.

– Спой, Соловушка! – обратилась к ней умильным голосом Корбина.

– Пожалуйста, спой, Чикуша, милая! – подхватили и другие. И Варюша, никогда не ломавшаяся в этих случаях, перебросила через плечо тяжелую, уже доплетенную косу и, скрепив на груди полненькие ручки, запела.

Никогда, никогда уже в жизни я не слыхала более приятного, более нежного голоса. Хорошо, дивно хорошо пела Варюша! Эти за душу хватающие звуки вырывались словно из самых недр сердца! Они плакали и жаловались на что-то, и ласкали, и нежили, и баюкали... А большие, всегда грустные, не по летам серьезные глаза девушки были полны, как и голос ее, той же жалобы, той же безысходной тоски!

Она пела о знойном лете, о душистых полевых цветах и о трели жаворонка в поднебесной выси. Несложный то был мотив и несложная песня. А как ее передавала, как бесподобно передавала ее Варюша! И лицо ее, обыкновенно невзрачное, простоватое русское лицо, преобразалось до неузнаваемости во время пения... Громадные тоскливые глаза горели как два полярных солнца... Рот заалел, полуоткрылся, и из него глядели два ряда мелких и сверкающих, как у белочки, зубов. Положительно, она казалась нам в эти минуты красавицей, наша скромная Чикунина.

Песня оборвалась, а мы все еще сидели, словно зачарованные ею. Кира Дергунова очнулась первой. Со свойственной ее южной натуре стремительностью, она вскочила со своего места и, повиснув на шее Варюши, вскричала:

– Душка Чикунина! Позволь мне обожать тебя!

– Она будет знаменитой певицей! Увидите, mesdam'очки, – шепотом произнесла Валя Лер, сама втихомолку бредившая сценой. – Вот увидите! Она прогремит на целый свет своим голосом!..

Варюша молчала... Она смотрела вперед затуманенными, странными, полными вдохновения глазами и, казалось, не видела ни этой казенной высокой комнаты, освещенной рожками газа, ни этих стен с рядами кроватей по ним, ни смешных, восторженных и пылких девочек!.. Может быть, в ее воображении уже мелькала тысячная толпа зрителей, богатая сцена, дивная музыка и она сама, как непобедимая владычица толпы, в шелку, бархате и драгоценных уборах!

Она все еще смотрела не отрываясь в одну точку и не видела и не слышала, как дверь из комнаты Арно приотворилась и классная дама появилась на пороге.

– Влассовская! Venez ici, ma chere, j'ai a vous parler!¹¹

Я покорно поднялась и пошла на зов.

¹¹ Подите сюда, дорогая, я должна поговорить с вами!

– Надень кофточку, кофточку надень! – шепнула мне по дороге Краснушка, и чьи-то услужливые руки набросили мне на плечи грубую ночную кофту.

– *Chere enfant!* – торжественно произнес Пугач, как только я перешагнула порог ее «дупла», как прозвали институтки комнату классной дамы, разделенную на две половины дощатой перегородкой, – *chere enfant*, я хочу поговорить с вами серьезно. Садитесь!

О, это уже было совсем новостью! Никогда еще Арно не приглашала садиться в своем присутствии, и никогда ее голос не выводил таких сладких ноток.

Я машинально повиновалась, опустившись на первый попавшийся стул у двери.

– Не здесь! Не здесь! – улыбаясь, произнесла «синявка». – К столу садитесь, милочка! Вы не откажете, надеюсь, выпить со мною чашку чаю?

На круглом столике у дивана совсем по-домашнему шумел самовар и лежали разложенные по тарелкам сыр, колбаса и масло. Я, полуголодная после институтского стола, не без жадности взглянула на все эти лакомства, но прикоснуться к чему-либо считала «низостью» и изменой классу. Арно ненавидели дружно, изводили всячески, она была нашим врагом, а есть хлеб-соль врага считалось у нас позорным. Поэтому я только низко присела в знак благодарности, но от чая и закусок отказалась.

– Как хотите, – обиженно поджимая губы, произнес Пугач, – как хотите!

Помолчав немного, она подошла ко мне и, взяв мою руку своей худой, костлявой рукой, произнесла насколько могла ласково и нежно:

– Милая Влассовская, я хотела с вами поговорить «по душе».

По душе? Вот чего я никак уже не ожидала... Да и вряд ли кто-либо из моих одноклассниц подозревал о присутствии «души» у этого бессердечного, сухого и педантичного Пугача.

– Я вас слушаю, *mademoiselle*, – ответила я покорно.

– *Chere enfant*, – произнесла Арно теми же сладенькими звуками, – я хочу поговорить с вами о вашей дружбе с Запольской.

– С Марусей? – воскликнула я изумленно.

– Да, *mon enfant*, эта дружба, не скрою, вредит вам. Вы первая ученица и примерная воспитанница. Запольская – отъявленная шалунья. Вы не могли не слышать ее дерзкого обращения со мною. В субботний отчет я поговорю о ней с Маман. Чем это кончится – не знаю... Но если Маман узнает еще две-три дерзости Запольской, я нисколько не удивлюсь, если конференция настоит на исключении ее из института. Вам нечего дружить с ней, *ma chere*. Знаете французскую поговорку: «*Dis moi avec qui tu es, et je te dirais qui tu es*». ¹² Хорошая девушка должна избегать дурных, и я надеюсь, что вы, Влассовская, измените свой взгляд на Запольскую и найдете себе более достойную подругу вроде Муравьевой, Марковой, Чикуниной, Зот и других. Надеюсь, вы поняли меня, *mon enfant*. А теперь ступайте спать... Я не задерживаю вас больше! *Bonne nuit, ma chere*. ¹³

– *Bonne nuit, mademoiselle!*

Я сделала традиционный книксен и «вылезла из дупла».

Так вот оно что! Вот он, разговор по душе! О, противная Арношка! Гадкий Пугач! Неужели хоть на минуту могла она подумать, что я «продам» мою Марусю за противные закуски и отвратительные речи «по душе»? Никогда, никогда в жизни, *mademoiselle* Арно, запомните это! Людмила Влассовская не была и не будет изменницей...

– Что ты делала в «дупле»? Что тебе говорил Пугач? – слышались расспросы моих подруг, лишь только я снова очутилась в дортуаре.

Но я не отвечала им ни слова, а стремительно кинулась к постели Запольской.

¹² Скажи мне, с кем ты водишься, и я скажу, кто ты.

¹³ Доброй ночи, милая.

Маруся сидела на ней скорчившись, поджав под себя ноги по-турецки. В одной руке она держала карандаш, а другой размахивала по воздуху клочком бумаги и что-то быстро-быстро шептала.

Я поняла, что Маруся «сочиняла» и что на нее напал один из ее порывов вдохновения. Ее алый ротик улыбался, а в глазах, там, за этими яркими искорками, в самой глубине блестящих зрачков, горело и переливалось что-то. Рыжие кудри спутанными прядями падали на грудь, и все ее разом побледневшее личико светилось теперь каким-то внутренним светом.

– Маруся! Маруся! Золото мое! – бросилась я к ней в неудержимом порыве. – Знаешь ли, что проповедовала Арно?!

Но она была теперь далека и от Арно, и от ее проповедей, и даже от меня самой, ее лучшей, самой дорогой подруги.

– Не мешай, Галочка, – шепотом произнесла она, – я пишу стихи... Помнишь мой сон, Люда? Цветы... Нерон... песни... Я облеку этот сон в поэзию... Чикунина своим пением вдохновила меня! Мне всегда хочется писать, когда я слышу песни, музыку... Не мешай, Люда, постой... как это? Ах, да...

И вот он встал, властитель Рима,
Он лютню взял и подал знак...
Пред ним, бледна и недвижима... —

продекламировала с пафосом Маруся и вдруг, неожиданно сорвавшись с места, кинулась со всех ног к Додо Муравьевой, крича во все горло:

– Душка Додоша, дай рифму на «знак», ты так много читаешь!

– «Дурак»! – неожиданно выпалила Бельская, всегда скептически относившаяся к таланту Краснушки.

– Ты сама дура, Белка, и в тебе нет ни на волос ни поэзии, ни чувства!

И Маруся, с тем же блуждающим взглядом, снова метнулась к своей постели.

– Mesdam'очки, какие мы все талантливые! – восторженно взывала Миля Корбина, вскарабкавшись на ночной столик: – Валя Чикунина – певица, Краснушка – поэт... Зот картины пишет... Вольская – музыкантша... Ах, mesdam'очки, поцелуйтесь, пожалуйста! – заключила она неожиданно.

– Mesdames, couchez vous!¹⁴ – произнесла Арно, снова появляясь на пороге. – Корбина, слезайте сейчас же со шкафчика. Вы, верно, привыкли лазить с мальчишками по забору у себя дома.

– У-у, противная, – поворачиваясь спиной к Пугачу, протянула Корбина, – не смеет домом попрекать!.. Анна, Анна, а твоя новость? – увидя проходившую с полотенцем через плечо Анну, бросилась она к ней.

– После спуска газа, – шепнула звонким шепотом та, – mesdam'очки, соберитесь все на моей постели после спуска газа!

Дортуарная девушка Акулина подставила табуретку под висящие под потолком газовые рожки и уменьшила в них свет.

Дортуар тонул в полумраке. Краснушка, прерванная на полустрочке своего писания, со злостью швырнула карандаш на пол и заявила сердитым шепотом:

– И дописать не дали, что за свинство!

– Запольская, будьте сдержаннее в ваших выражениях, – зашипела на нее Арно.

– Незачем, – проворчала Краснушка, – я «нулевая» по поведению. Значит, с меня взятки – гладки.

¹⁴ Ложитесь спать!

– Не дерзить! Или я отведу вас к Маман! – прикрикнул окончательно выведенный из себя Пугач.

– Господи, жизнь-то наша, – комически вздохнула на своей постели Кира, – каторга сибирская!

Маруся долго взбивала подушки, потом встала на колени перед образком, привешенным к ее изголовью, и стала усердно молиться, отбивая земные поклоны. Потом она снова влезла на постель и, перевесившись в «переулок», как у нас назывались пространства между кроватями, шепнула мечтательно:

– Я бы хотела быть поэтом! Большим поэтом, Люда!

Ее лицо было еще бледно от экстаза, рыжие кудри отливали золотом в фантастическом полуосвещении дортуара. Губы улыбались восторженно и кротко.

Я безотчетным движением обняла ее и тихо прошептала:

– Никогда, никогда не «продам» я тебя, милая моя Краснушка!

Она или не расслышала, или не поняла меня, потому что губы ее снова зашевелились, и я услышала ее восторженный лепет:

– Цветы... и кровь... и круглая арена, и музыка, и дикий рев зверей...

– Маруся! Маруся! Да полно тебе... Спокойной ночи.

Она не отвечала, машинально поцеловала меня и, отпрянув на свою постель, зарылась головой в подушки.

Я полежала несколько минут в ожидании, пока Пугач снова не влезет в свое дупло; потом, когда дверь ее комнаты скрипнула и растворилась, осветив на мгновение яркой полосой света дортуар с 40 кроватями, и затем затворилась снова, я быстро вскочила с постели, накинула на себя юбку и поспешила в гости на кровать к Анне Вольской, где уже белели три-четыре фигурки девочек в ночных туалетах.

Анна Вольская лежала на своей постели, Кира Дергунова, Белка, Иванова, красавица Лер, Мушка и я расселись кто у нее в ногах, кто на табуретках, в переулке.

Вольская, на бледном, интеллигентном и изящном лице которой ярко горели в полутьме дортуара два больших серых глаза, казавшихся теперь черными, обвела всех нас испуганно-таинственным взглядом и без всякого вступления сразу «выложила» новость:

– Я видела в 17-м номере «ее»!..

– Ай! – взвизгнула Мушка. – Анна, противная, не смей, не смей так смотреть, мне страшно!

– Пошла вон, Мушка, ты не умеешь держать себя! – холодно проговорила Анна, награждая провинившуюся девочку уничтожающим взглядом. – Пошла вон!

Мушка, сконфуженная, присмирившая, молча сползла с постели Анны и бесшумно удалилась, сознавая свою вину.

– Ну? – притаив дыхание, так и впились мы в лицо Вольской.

– В 17-м номере появилась черная женщина! – торжественно и глухо проговорила она.

– Анна, душечка! Когда ты «ее» видела? – прошептала Белка, хватая холодными, дрожащими пальцами мою руку и подбирая под себя спущенные было на пол ноги.

– Сегодня, во время экзерсировки, перед чаем. Я сидела в 17-м номере и играла баркароллу Чайковского, и вдруг мне стало так тяжело и гадко на душе... Я обернулась назад к дверям и увидела черную тень, которая проскользнула мимо меня и исчезла в коридорчике. Я не заметила лица, – продолжала Анна, – но отлично разглядела, что это была женщина, одетая в черное платье...

– А ты не врешь, душка? – так и впиваясь глазами в Вольскую, шепотом произнесла Кира.

– Анна никогда не врет! – гордо ответила Валя Лер, подруга Вольской. – И потом, будто ты не знаешь, что 17-й номер пользуется дурной славой...

– Ах, душки, я никогда не буду там экзерсироваться! – в ужасе зашептала Иванова. – Ну, Вольская, милая, – пристала она к Анне, – скажи: смотрела она на тебя?

– Я не заметила, mesdam'очки, потому что страшно испугалась и, побросав ноты, кинулась в соседний номер к Хованской.

– А Хованская не видела «ее»?

– Нет.

– Хованская парфетка, а парфетки никогда не видят ничего особенного! – авторитетно заметила Кира.

– И Вольская парфетка, – напомнила Белка.

– Анна – совсем другое дело. Анна совсем особенная, как ты не понимаешь? – горячо запротестовала Лер, питавшая какую-то восторженную слабость к Вольской.

– Mesdam'очки, – со страхом зашептала снова Бельская, – а как вы думаете: кто «она»?

– Разве ты не знаешь? Конечно, все та же монахиня, настоятельница монастыря, из которого давно-давно сделали наш институт. Ее душа бродит по селюлкам, потому что там раньше были кельи монахинь, и ее возмущает, должно быть, светская музыка и смех воспитанниц! – пояснила Миля Корбина, незаметно подкраиваясь к группе.

– Mesdam'очки, а вдруг она сюда к нам доберется да за ноги кого-нибудь! Ай-ай, как страшно! – продолжала Бельская, окончательно взбираясь с ногами на табуретку.

– Знаете, душки, если мне выйдет очередь экзерсироваться в 17-м номере, я в истерику и в лазарет! – заявила Кира.

– А Арношка тебя накажет! Она ведь истерик не признает...

– Пусть наказывает... а я все-таки не пойду! Этакие страсти!

– Ты боишься, Влассовская? – обратилась ко мне Анна, когда мы, перецеловавшись и перекрестившись друг друга, стали расходиться по своим постелям.

– Нет, Вольская, я не боюсь, – отвечала я спокойно, – ты прости меня, но я не верю всему этому.

– Мне не веришь? – И большие глаза Анны ярко блеснули в полумраке. – Слушай, Людмила, – зазвучал ее сильный, грудной голос, – я сама не верила своим глазам, но... слушай, это было... я ее видела... видела черную женщину, клянусь тебе именем моей покойной матери. Веришь ты мне теперь, Люда?

Да, я ей поверила. Я, впрочем, ни на минуту и не задумалась над тем, что это была ложь, – нет, Анна Вольская была в наших глазах совсем особенною девушкой. Она никогда не лгала, не пряталась в своих провинностях и была образцово честна, но ее нервность доходила иногда до болезненности, и я в первую же минуту ее рассказа подумала, что черная женщина была только плодом ее расстроенной фантазии. Но когда Вольская поклялась мне, что действительно видела черную женщину, – я уже не смела сомневаться больше в ее словах, и мне разом сделалось страшно.

ГЛАВА VII

Кис-Кис и ее исповедь. Батюшка

Следующий день было немецкое дежурство. Fraulein Hening – добродушная, толстенькая немочка, которую мы столько же любили, сколько ненавидели Пугача-Арно, – еще задолго до звонка к молитве пришла к нам в дортуар и стала, по своему обыкновению, «исповедовать», то есть расспрашивать, девочек о том, как они вели себя в предыдущее французское дежурство.

Мы никогда не лгали Кис-Кис, как называли нашу Fraulein, и потому Краснушка в первую же голову рассказала о вчерашней «истории», Миля Корбина присовокупила к этому рассказу и свое злополучное происшествие. Fraulein внимательно выслушала девочек, и лицо ее, обыкновенно жизнерадостное и светлое, приняло печальное выражение.

– Ах, Маруся, – произнесла она с глубоким вздохом, – золотое у тебя сердце, да буйная головушка! Тяжело тебе будет в жизни с твоим характером!

– Дуся-Fraulein, – пылко вскричала Краснушка, – ей-Богу же, я не виновата. Она придирается.

– Ты не должна говорить так о твоей классной даме, – сделав серьезное лицо, произнесла Кис-Кис.

– Право же, придирается, Fraulein-дуся! Ведь из-за пустяка началось: зачем я поцеловала Влассовскую после звонка.

– Ну и промолчала бы, смирилась, – укоризненно произнесла Fraulein, – а то ноль за поведение. Fi, Schande!¹⁵ Выпускная – и ноль... Ведь Маман может узнать, и тогда дело плохо... Слушай, Запольская, ты должна пойти извиниться перед mademoiselle Арно... Слышишь, ты должна, дитя мое!

– Никогда, – горячо вскричала Маруся, – никогда! Не требуйте этого от меня, я ее терпеть не могу, ненавижу, презираю! – Глаза девочки так и заблестели всеми своими искорками.

– Значит, ты не любишь меня! – произнесла Кис-Кис, укоризненно качая головой.

– Я не люблю? Я, Fraulein? И вы можете говорить это, дуся, ангел, несравненная! – И она бросилась на шею наставницы и вмиг покрыла все лицо ее горячими, быстрыми поцелуями.

– А Пугача я все-таки ненавижу, – сердито поблескивая глазами, шепнула Краснушка, когда мы становились в пары, чтобы идти вниз...

Первый урок был батюшки.

Необычайно доброе и кроткое существо был наш институтский батюшка. Девочки боготворили его все без исключения. Его уроки готовились дружно всем классом; если ленивые отставали, – прилежные подгоняли их, помогая заниматься. И отец Филимон ценил рвение институток. Чисто отеческою лаской платил он девочкам за их отношение к нему. Вызывал он не иначе как прибавляя уменьшительное, а часто и ласкательное имя к фамилии институтки: Дуняша Муравьева, Раечка Зот, Милочка Корбина и т. д. Случалось ли какое горе в классе, наказывалась ли девочка, – батюшка долго расспрашивал о «несчастье» и, если наказанная страдала невинно, шел к начальнице и «выгораживал» пострадавшую. Если же девочка была виновата, отец Филимон уговаривал ее принести чистосердечно повинную и загладить поступок. Во время своих уроков батюшка никогда не сидел на кафедре, а ходил в промежутках между скамейками, поясняя заданное к следующему дню, то и дело останавливаясь около той или другой девочки и поглаживая ту или другую склоненную перед ним головку. Добрый священник знал, что в этих холодных казенных стенах вряд ли найдется хоть одна душа, могущая понять чуткие души девочек, вырванных судьбою из-под родных кровель с самого раннего

¹⁵ Фи, стыд!

детства... И он старался заменить им лаской хоть отчасти тех, кого они оставляли дома, поступая в строго дисциплинированное учебное заведение.

– Ну, девоньки, – обратился он к нам после молитвы, которую при начале его класса всегда прочитывала дежурная воспитанница, – а херувимскую концертную вы мне выучили к воскресенью?

– Выучили, батюшка, выучили! – радостно ответили несколько молодых, сочных голосов.

– Ну спасибо вам! – ласково улыбнулся батюшка. – Нелегкая задача – петь на клиросе...

Справитесь ли, Варюша? – обратился он к Чикунинной, на что та ответила своим сильным, звучным голосом:

– Постараемся, батюшка.

– Бог в помощь, деточки! А вот псаломщика у нас нет!

И батюшка внимательным взором обвел класс, как бы не решаясь, на ком остановиться.

«Псаломщиком» называлась та воспитанница, которая читала за дьячка всю церковную службу в институтской церкви. Быть «псаломщиком» было далеко не легко. От «псаломщика» требовалось знание славянского языка, звучный голос и крепкое здоровье, чтобы не уставать в продолжение долгих церковных служб.

После шумных рассуждений была выбрана Таня Петровская, отчасти за ее благочестие, отчасти за ее здоровье и выносливость.

– Батюшка, а у нас в 17-м номере появилась черная женщина! – неожиданно выпалила сидевшая на последней скамейке Иванова.

– Что вы, Манюша, Бог с вами! – произнес батюшка и, сдвинув на лоб очки, пристально посмотрел на говорившую.

– Иванова, глупая, молчи! Ведь это «тайна», – дернула ее за рукав сидевшая поблизости Кира.

Но было уже поздно. Батюшка услышал «тайну».

– Что вы, девочки, – прозвучал его ласковый, голос, – никакой черной женщины не может быть в музыкальной комнате! Ведь незнакомых не допускают в институт, а всех ваших дам вы знаете в лицо.

– Да это была не дама, батюшка, это было «оно»... – начала робко Бельская.

– Что? – не понял батюшка.

– «Оно»... привидение... – подхватила Миля Корбина, и зрачки ее расширились от страха.

– Галочка, пусти, пусти меня! – послышалось со всех сторон...

– Да Господь же с вами, девоньки, чего только не выдумаете! – ласково усмехнулся отец Филимон... – Ничего тайного, сверхъестественного не может быть на земле. Есть таинства, а не тайны: таинства обрядов, таинство смерти и другие.

– Ах, батюшка, – прошептала Миля, – а как же мертвецы встают из гробов... и являются к живым людям?

– Все это неправда, девочка... Либо неуместная шутка досужих людей, либо просто выдумка... Тело подлежит тлению после смерти, как же оно явится?... А душа, насколько вы знаете, не может воплощаться, – пояснил батюшка. – Да и кто видел из вас черную женщину?

Мы невольно оглянулись на Вольскую. Она сидела бледная и спокойная, по своему обыкновению, и на вопрос священника отвечала твердо:

– Я ее видела, батюшка.

– Вы, Анночка? – удивился тот. – Но, деточка, вы, наверное, ошиблись, приняв кого-нибудь из музыкальных дам, делавших обход нумеров, за привидение... Успокойтесь, дети, – обратился он ко всем нам, – знайте, что все усопшие спокойно спят в своих могилах и что привидений не существует на земле!.. Анна, грешно и нехорошо верить в них.

Анна молчала, только легкая судорога подергивала ее губы. Вольская славилась между нами своим авторитетом. Ей верили больше всего класса, ее уважали и даже чуточку боялись. И в правдоподобии ее рассказа о черной женщине никто не усомнился ни на минуту.

Объяснение батюшки сорвало покров таинственности с происшествия Вольской, и мы сидели теперь разочарованные и огорченные тем, что «оно» оказывалось только музыкальной дамой. Какое прозаическое и обыкновенное пояснение! Какая жалость!

– Я иду экзерсироваться в семнадцатый номер, – решительно заявила Белка, когда батюшка, благословив нас по окончании урока, вышел из класса.

– И я!

– И я!

– И я! – послышалось со всех сторон.

Семнадцатый номер брался теперь чуть ли не с бою. Надо доказать, что Анна ошиблась вчера. Надо решить эту загадку.

– А я и не подозревала, Анна, твоей способности к «сочинительству», – проходя мимо Вольской, съязвила Крошка.

Последняя ответила презрительной улыбкой. Анна слишком ценила свое достоинство, чтобы входить в какие-либо объяснения и пререкания с подругами, которых в глубине души считала ниже и глупее себя.

Все последующие уроки, завтрак и обед мы просидели как на иголках; ожидая того часа, когда нам прочтут распределение номеров для часа музыкальных упражнений.

Наконец час этот настал. В 7 часов вечера Fraulein Hening взошла на кафедру и, взяв в руки тетрадку с расписанием, прочла распределение селюлек.

Бельская – 10, Иванова – 11, Морева – 12, Хованская – 13 и т. д., и т. д. вплоть до 17-го, последнего номера, который предназначался мне.

В первую минуту мне показалось, что я ослышалась...

– Какой? – помимо моей воли вырвалось у меня.

– Семнадцатый, семнадцатый!.. Галочка, пусти, пусти меня! – послышалось со всех сторон.

Но я не согласилась: мне во что бы то ни стало захотелось попасть туда самой, чтобы подтвердить слова батюшки или... убедиться в предположении Анны.

ГЛАВА VIII

17-й номер. Недавнее прошлое

В институте было 20 номеров музыкальных комнат, или селюлек, как мы их называли. Часть их была за залой, часть в нижнем темном коридоре, неподалеку от лазарета и по соседству с квартирой начальницы. Они помещались одна подле другой в два этажа, и из нижних селюлек в верхние вела узенькая деревянная лесенка. В нижних селюльках, «лазаретных», давались уроки музыкальными дамами, в верхних, зазальных, – исключительно экзерсировались. Окна всех селюлек выходили в сад, прямо на гимнастическую площадку, находящуюся перед крыльцом квартиры начальницы.

Я вошла в 17-й номер, не ощущая никакого страха, и открыла окно. Струя свежего сентябрьского воздуха ворвалась в крошечную комнатку, где мог только поместиться старинный рояль с разбитыми клавишами и круглый табурет перед ним. Потом вынула из папки толстую тетрадь шмитовских упражнений, положила ноты на пюпитр и, придвинув табурет, уселась за рояль.

Газовые рожки, вделанные в стену, ярко освещали крошечный номер. Из соседнего 16-го номера слышались тщательно разыгрываемые чьей-то нетвердой рукой гаммы под монотонное выстукивание метронома. Это Раечка Зот, рябоватенькая, худосочная блондиночка, разучивала музыкальный урок к следующему дню.

17-й номер был последним в нижних селюльках и упирался в стену соседней с ним комнаты музыкальной дамы.

Скоро и верхние и нижние селюльки огласились самыми разнообразными звуками из разных мотивов; получилось какое-то ужасное попури. Одна воспитанница играла гаммы, другая – упражнения, третья – пьесу, и все это сопровождалось громким отсчитыванием на французском языке и стуком метронома:

– Un, deux, trois, un, deux, trois!¹⁶

Свежий осенний вечер уже давно окутал природу... Деревья, еще не лишённые вполне осеннего убранства, казались громадными гигантами, протягивающими неведомо кому и неведомо зачем свои гибкие мохнатые ветви-руки... Луны не было... Только звезды, частые, золотые звезды весело мигали с неба своими зеленоватыми огоньками, как бы ласково заглядывая в окно селюльки... Они словно притянули меня к себе...

Остановившись на полутакте, я вскочила с табурета, подошла к окну и стала с жадностью вдыхать в себя свежую струю чудесного, чистого вечернего воздуха.

Я не могу равнодушно смотреть на звезды, не могу оставаться наедине с ними, чтобы они не навевали моему воображению милые, далекие картины моего детства... И сейчас эти картины встали передо мною, сменяясь, появляясь и исчезая, как в калейдоскопе. Жаркий июньский полдень, такой голубой, нежный и ясный, какие может только дарить самим Богом благословенная Украина... Вот белые, как снег, чистые мазанки, затонувшие в вишневых рощах... Как славно пахнут яблони и липы!.. они отцветают, и аромат их сладко дурманит голову... Я сижу в громадном саду, окружающем наш хуторской домик... рядом со мною чумазая Гапка – дочь нашей стряпки Катри... Она жуёт что-то, по своему обыкновению, а тут же на солнышке греется дворовая Жучка... Я сижу на дерновом диванчике и сладко мечтаю... Я только что прочла историю о крестовых походах, и мне не то грустно, не то сладко на душе, хочется неясных подвигов, молитв, смерти за Христа. Вот раздвигаются ближайšie кусты сирени, и молодая еще, очень худенькая и очень бледная женщина, с громадными выразительными глазами,

¹⁶ Один, два, три, один, два, три!

всегда ласковыми и всегда немного грустными, появляется, словно в раме, среди зелени и цветущей сирени.

– Мама! – говорю я лениво... и ничего не могу сказать дальше, потому что язык немеет от жары и лени, но глаза договаривают за него.

Она присаживается рядом со мною, и я прошу ее поговорить о моем отце. Это мой любимый разговор. Отец – моя святыня, которую – увы! – я едва помню: когда он умер, мне было только около пяти лет! Мой отец – герой, и имя его занесено на страницы отечественной истории вместе с другими именами храбрецов, сложивших свои головы за святое дело. В последнюю турецкую войну отец мой был убит при защите одного из редутов под Плевной. Он сгорел далеко на чужой стороне, и мне с матерью не осталось даже в утешение дорогой могилы... Но зато нам оставались воспоминания об отце-герое...

И мама говорила, говорила мне без конца о его храбрости, смелости и великодушии. И Гапка, разинув рот, слушала повествование о покойном барине, и даже Жучка, казалось, наострила уши и была не совсем безучастна к этой беседе.

Скоро к нам присоединилось кудрявое, прелестное существо, с ясными глазенками и звонким смехом: мой маленький пятилетний братишка, убежавший от надзора старушки няни, вынырнувшей целых два поколения нашей семьи...

Чудные то были беседы в тени вишневых и липовых деревьев, вблизи белого, чистенького и небольшого домика, где царили мир, тишина и ласка!

Но вот картина меняется... Я помню ясный, но холодный осенний денек. Помню бричку у крыльца, плач няни, слезливые причитания Гапки, крики Васи и бледное, измученное и дорогое лицо, без слез смотревшее на меня со страдальческой улыбкой... Этой улыбки, этого измученного лица я никогда не забуду!

Меня отправляли в институт в далекую столицу... Мама не имела возможности и средств воспитывать меня дома и поневоле должна была отдать в учебное заведение, куда я была зачислена со смерти отца на казенный счет.

Последние напутствия... последние слезы... чей-то громкий возглас среди дворни, провожавшей меня – свою любимую панночку... и милый хутор исчез надолго из глаз.

Потом прощание на вокзале с мамой, Васей... отъезд... дорога... бесконечная, долгая; в обществе соседки нашей по хутору, Анны Фоминичны, и, наконец, институт... неведомый, страшный, с его условиями, правилами, этикетом и девочками... девочками... без конца.

Я помню отлично тот час, когда меня – маленькую, робкую, новенькую – начальница института ввела в 7-й, самый младший класс.

Вокруг меня любопытные детские лица, смех, возня, суматоха... Меня расспрашивают, тормозят, трунят надо мною. Мне нестерпимо от этих шуток и расспросов. Я, точно дикий полевой цветок, попавший в цветник, не могу привыкнуть сразу к его великолепию. Я уже готова заплакать, как предо мною появляется ангел-избавитель в лице черноокой красавицы грузиночки княжны Нины Джавахи... Я как сейчас вижу пленительный образ двенадцатилетней девочки, казавшейся, однако, много старше, благодаря недетски серьезному личику и положительному тону речей. «Не приставайте к новенькой», – кажется, сказала тогда девочка своим гортанным голосом, и с той минуты, как только я услышала первые звуки этого голоса, мне показалось, что в институтские стены заглянуло солнце, пригревшее и приласкавшее меня. Я и Нина стали неразлучными друзьями. Если бы у меня была сестра, я не могла бы ее любить больше, нежели любила княжну Джаваху... Мы не расставались с ней ни на минуту до тех пор, пока... пока...

Я вижу этот мучительный, ужасный день, когда она умирала от чахотки... Я никогда, никогда не забуду его...

Это до неузнаваемости исхудалое личико будет вечно стоять передо мною, с двумя багровыми пятнами румянца на нем, с громадными, вследствие худобы лица, глазами... Я никогда

не перестану слышать этот за душу хватающий голосок, шептавший мне, несмотря на страдания, слова нежности, дружбы и ласки... Господи! Чего бы только не сделала я тогда, чтобы отклонить удар смерти, занесенный над головою моего маленького друга!

Но она умерла! Все-таки умерла, моя маленькая черноокая Нина!

Мне остался только дневник покойной, все прошлое ее недолгого отрочества, записанное в красную тетрадку, да фамильный медальон с портретом Нины в костюме мальчика-джигита.

И день ее похорон я тоже никогда не забуду... ясный, весенний, солнечный день, роскошный катафалк под княжеской короной, белый гроб с останками княжны и статного красавца генерала – отца Нины, с безумным взглядом шагнувшего впереди нас за гробом дочери на монастырское кладбище. Он не застал в живых Нины, которую любил до безумия.

Новая картина... новые впечатления. Внезапный приезд мамы за мною перед летними каникулами... мамы и Васи с нею... Сумасшедшая радость свидания... Поездка в Новодевичий монастырь на могилу Нины и неожиданный-негаданный приезд ее родственника князя Кашидзе, явившегося к нам в номер гостиницы перед самым нашим отъездом! Он привез сердечную благодарность князя Георгия Джавахи, отца Нины, благодарность мне за мою беспредельную любовь к его дочери.

Затем отъезд из Петербурга, радостный, счастливый, под милое небо милой сердцу Украины...

Лето... дивное, роскошное... с прогулками в лес, с вечным праздником природы, с соловьиными трелями, с заботливой любовью мамы, с ласками Васи... няни...

Не то сон... не то действительность... Зачем он промчался так скоро?

Снова осень... институтки, начальница, учителя, классные дамы... и тоска, тоска по своим...

И вот она – новая подруга – пылкая, необузданная, экзальтированная девочка с рыжими косами и восприимчивым сердцем. Она не заменит мне никогда моего усопшего друга, но она мила и добра ко мне, и я люблю ее горячо, искренно! Меня, впрочем, любит не она одна. Меня любят все и балуют как могут; я нахожу второй дом в институте, сестер – в лице подруг, заботливую попечительницу – в лице начальницы...

Я способна, послушна, толкова... я первая ученица... я представительница класса и его надежда... Счастье улыбается мне...

И вдруг снова ночь, мрак, пустыня и ужас! Все, что было бесконечно дорого, для кого я старалась учиться, для кого отличалась в прилежании и поведении – того не стало. Мама умерла так неожиданно и скоро, что тяжелое событие пронеслось ужасным кошмаром в моей жизни... Брат Вася заболел крупом, и моя мать заразилась от него... Это было в год моего перехода в четвертый класс. Я узнала о печальном событии только через неделю после него. Письма с Украины идут долго. Три дня проболели мама с братом, и оба скончались один после другого, в тот же день... Это было мучительное, стихийное горе... Главное, ужасно было то, что я не видала их в последние минуты... Их схоронили без бедной Люды...

Я помню день, когда Мама прислала в класс за мною. К Мама призывали только в исключительных случаях: или когда надо было выслушать выговор за провинность, или когда с институтками случалось какое-нибудь семейное горе...

«Выговоров я не заслужила, значит, надо было ожидать другого»... – решила я по дороге в квартиру княгини-начальницы, и смертельная тоска сжала мне сердце.

– Дитя мое, – сказала Мама, когда я вошла в ее роскошную темно-красную гостиную, – твоя мама и брат серьезно занемогли!

Что-то точно ударило мне в сердце... Я бросилась с воплем к ногам начальницы и сквозь рыдания пролепетала:

– Умоляю... не мучьте... правду... одну только правду скажите... Они умерли, да?

Мучительно протянулась секунда в ожидании ответа. Мне она показалась по крайней мере часом. Я слышала, как маятник часов выстукивал свое монотонное «тик-так», или то кровь била в мои виски, я не знаю. Все мое существо, вся жизнь моя перешла в глаза, так и впившиеся в лицо начальницы, на котором страшная жалость боролась с нерешительностью.

– Да говорите же, говорите, ради Бога! – вскричала я иступленно. – Не бойтесь, я вынесу, все вынесу, какова бы ни была эта ужасающая правда!

И Мамап сжалилась надо мною и сказала свое потрясающее «да», сжав меня в объятиях.

Это было ужасное горе. Когда умерла Нина Джаваха, я могла плакать у ее гроба и слезы хотя отчасти облегчали меня. Тут же не было места ни слезам, ни стонам. Я застыла, закаменела в моем горе... Ни учиться, ни говорить я не могла... Я жила, не живя в то же время... Это был какой-то тяжелый обморок при сохранении чувства, что-то до того мучительное, страшное и болезненное, чего нельзя выразить словами.

И в такую минуту милая рыжая девочка пришла мне на помощь.

Маруся Запольская взяла меня на свое попечение, как нянька берет больного, измученного ребенка... Она бережно, не касаясь моей раны, переживала со мною всю мою потрясающую драму и облегчала мое печальное существование, насколько могла.

Милая, добрая, чуткая Краснушка! Я благословляю тебя за твое чудное сердечко, за твою тонкую, восприимчивую, глубокую натуру!

С той минуты, как я осиротела, я поступила в полное ведение института. У меня уже не было семьи, дома, родных... Это мрачное здание стало отныне моим домом, начальница должна была заменить мне мать, подруги и наставницы – родных.

Я не могла бы просуществовать на мою скромную пенсию после отца, и потому институтское начальство должно было взять на себя хлопоты по устройству моего будущего... А это будущее было теперь так близко от меня...

Я смотрела на темное небо и ласковые звезды, а с души моей поднимались накипевшие вопросы: «Что-то будет со мною? Куда попаду после выпуска? У кого начну мою трудную службу в гувернантках? И будет ли судьба ласковой в будущем к бедной, одинокой девушке, не имеющей ни родных, ни крова?»

Но небо молчало и звезды тоже... И весь этот осенний вечер был нем и непроницаем, как мое закрытое будущее, как сама судьба...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.